

В. Г. Зебальд

Аустерлиц



Винфрид Зебальд

Аустерлиц

«Новое издательство»

2001

УДК 821.112.2
ББК 84(4)

Зебальд В. Г.

Аустерлиц / В. Г. Зебальд — «Новое издательство», 2001

ISBN 978-5-98379-201-2

В. Г. Зебальд (1944-2001) – немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Аустерлиц» вышел в 2001 году.

УДК 821.112.2

ББК 84(4)

ISBN 978-5-98379-201-2

© Зебальд В. Г., 2001
© Новое издательство, 2001

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

46

Винфрид Зебальд

Аустерлиц

© The Estate of W.G.Zebald, 2001

© Новое издательство, 2015

* * *

Во второй половине шестидесятых годов я, отчасти из познавательных целей, отчасти из иных, порою не вполне ясно осознаваемых мною соображений, неоднократно ездил из Англии в Бельгию, иногда всего лишь на день-два, иногда же на несколько недель. В одну из таких поездок, которые, как мне казалось, открывали передо мною далекий чужой мир, я, ослепительным весенним днем, прибыл в город, о котором прежде ничего не знал, кроме того, что он зовется Антверпен. Сразу же по прибытии, еще когда поезд, миновав виадук, обнесенный странными островерхими башенками, вкатился под темные своды вокзала, мне отчего-то стало не по себе, и это возникшее во мне тревожное чувство не оставляло меня во все время моего пребывания в Бельгии. Я хорошо помню то ощущение неуверенности и слабости в ногах, которое я испытывал, бродя по центру города, по Иерусалем-страат, Нахтегал-страат, Пеликан-страат, Парадиз-страат, Иммерзеель-страат, по многим другим улицам и переулкам, пока наконец, мучимый головною болью и дурными мыслями, не нашел спасительного убежища в зоопарке, расположенном на площади Астрид-плейн, в непосредственной близости от Центрального вокзала. Там, на укывшейся в полутени скамейке возле птичьего вольера, в котором носились бесчисленные пестрокрылые чижи и зяблики, я, понемногу приходя в себя, просидел почти весь день. Уже под вечер я пошел прогуляться по парку и заглянул в открывшийся несколько месяцев назад павильон ночных животных, в так называемый ноктуарий. Прошло какое-то время, прежде чем глаза привыкли к искусственному полумраку и я смог различить за стеклом, в свете блеклой луны, отдельных животных, занятых своей сумеречной жизнью. Кажется, тут были полевые мыши, тушканчики из Египта или из пустыни Гоби, простые местные ежи, филины и совы, австралийские сумчатые крысы, древесные куницы, сони и полуобезьяны, которые перепрыгивали с ветки на ветку, шныряли по серо-желтому песчаному настилу, то и дело исчезая в бамбуковых зарослях. По-настоящему запомнился мне только енот, за которым я долго наблюдал, следя, как он сидит с серьезным видом у ручейка и тербит огрызок яблока, все моет его, моет, будто надеется, что эта его выходящая за все разумные пределы чистоплотность поможет ему выбраться из странного псевдомира, куда он угодил за какие-то ему неизвестные заслуги. От всей многочисленной живности, водившейся в ноктуарии, у меня сложилось общее впечатление, будто у большинства из них необычайно большие глаза и пристальный, испытующий взгляд, какой встречается у живописцев и философов, пытающихся посредством чистого созерцания и чистого разума проникнуть во тьму, что окружает нас. Помимо этого, помнится, меня занимал вопрос: что происходит в ноктуарии, когда наступает настоящая ночь и зоопарк закрыт для посетителей?



Вполне вероятно, им там включают яркий электрический свет, дабы предоставить возможность, пока над их перевернутой мини-вселенной занимается день, спокойно погрузиться в сон. Со временем картины из ноктуария перемешались в моей памяти с теми образами, что

сохранились в моем сознании как связанные с так называемым *Salle des pas perdus*¹ антверпенского Центрального вокзала. И теперь, когда я пытаюсь представить себе этот зал ожидания, перед моим внутренним взором тут же встает ноктуарий, а когда я думаю о ноктуарии, мне сразу вспоминается зал ожидания, наверное, потому, что я в тот вечер прямо из зоопарка отправился на вокзал, вернее, сначала какое-то время постоял на площади перед вокзалом, разглядывая фасад этого фантастического здания, на которое я с утра как-то не обратил внимания. Теперь же я смотрел и не уставал удивляться, насколько это сооружение, возведенное под покровительством короля Леопольда, выходит за рамки простой целесообразности и как странно выглядит затянутый зеленой сеткой мальчик-негр со своим верблюдом, вознесенный на башню эркера по левой стороне вокзального фасада, – памятник африканскому миру зверей и туземцев, вот уже целый век одиноко стоящий под небом Фландрии. Когда я вошел в здание Центрального вокзала и очутился в зале под шестидесятиметровым куполом, мне пришла в голову мысль, навеянная, быть может, посещением зоопарка и созерцанием верблюда: отчего бы здесь, в мраморных нишах этого роскошного вестибюля, изрядно, впрочем, уже обветшавшего, не разместить клетки со львами и леопардами, аквариумы с акулами, каракатицами и крокодилами, ведь в зоопарках тоже прокладываются миниатюрные железные дороги и ходят поезда, которые доставляют посетителей в самые отдаленные уголки земли. Не исключено, что именно эти идеи, которые, так сказать, самопроизвольно явились мне в Антверпене, и послужили причиной того, что зал ожидания, приспособленный ныне, насколько я знаю, под служебную столовую, представился мне вторым ноктуарием, как в кино, когда одно изображение наплывает на другое, хотя, наверное, это отчасти еще объяснялось и тем, что солнце как раз ушло за крыши домов, когда я ступил под своды *Salle des pas perdus*. Золотые и серебряные блики еще играли в огромных тусклых зеркалах, расположенных на противоположной от окон стене, а по залу уже разлились неземные сумерки, в которых схоронились разрозненные фигуры людей, сидевших молча и неподвижно. Подобно обитателям ноктуария, среди которых было на удивление много мелких видов – крошечные пустынные лисы-фенеки, тушканчики, хомяки, – эти люди, как мне показалось, выглядели какими-то очень маленькими то ли из-за невероятно высоких потолков, то ли из-за сгущавшихся сумерек, – как бы то ни было, но их вид, наверное, навел меня на дикую мысль, будто все они – последние представители изгнанного из своей страны или вовсе уже исчезнувшего народа, те, кому удасться выжить, вот почему у них такие же скорбные физиономии, как у животных в ноктуарии. – Одним из тех, кто оказался тогда в *Salle des pas perdus*, был Аустерлиц, совсем немолодой человек, казавшийся в свои шестьдесят семь лет почти что юношей, со светлыми и странно выющимися волосами, какие я видел до сих пор только у главного немецкого героя Зигфрида в «Нибелунгах» Ланга. Как и во все наши последующие встречи, тогда, в Антверпене, у Аустерлица на ногах были тяжелые походные ботинки, одет же он был в простые брюки из синего потертого вельвета и явно сшитый когда-то на заказ пиджак, впрочем давно уже вышедший из моды, что выделяло его внешне из общей массы остальных присутствовавших, от которых он, впрочем, отличался и другим: он был единственным, кто не сидел, безучастно вперив взгляд в пустоту, а занимался изготовлением рисунков и набросков, каковые, судя по всему, имели непосредственное отношение к этому роскошному залу, в котором мы оба оказались и который, с моей точки зрения, более подходил для проведения официальных церемоний, нежели для ожидания поезда, направляющегося в Париж или Остенде, что, впрочем, нисколько не мешало Аустерлицу, который, если не рисовал, внимательно смотрел куда-то за окно, обследовал рифленые пилястры или же иные детали и элементы архитектурного пространства. В какой-то момент Аустерлиц достал из рюкзака фотоаппарат, старенький «Энсайн» с выдвижным объективом на гармошке, и, направив его на уже успевшие за это время померкнуть зеркала, сделал несколько снимков,

¹ Зал ожидания (*фр.*).

каковые, однако, мне до сих пор не удалось обнаружить среди тех, по большей части неразобранных, фотоматериалов, что передал он мне при нашей встрече зимою 1996 года. Когда же я наконец решился подойти к Аустерлицу и обратиться к нему вопросом относительно его очевидного интереса к залу ожидания, он, не выказав ни малейшего удивления по поводу такой моей непосредственности, тотчас же охотно дал разъяснения, хотя, как я впоследствии неоднократно убеждался, в этом не было ничего необычного, ибо люди, путешествующие в одиночестве и обреченные порой на многодневное молчание, испытывают, как правило, благодарность, если находится кто-нибудь, кто заводит с ними разговор. В таких ситуациях нередко оказывалось, что они даже готовы открыться незнакомому человеку целиком и полностью. Правда, Аустерлиц, который и позднее, во время наших встреч, почти ничего не рассказывал о своем происхождении и о своем прошлом, был не из этой породы. Наши антверпенские беседы, как он любил их называть, касались главным образом той специальной области, в которой он обладал удивительными познаниями, а именно истории строительных сооружений, что обнаружилось уже в тот самый вечер, когда мы просидели до полуночи в большом купольном зале, устроившись в части, прямо противоположной ресторации. Немногочисленные посетители, находившиеся там в этот поздний час, понемногу рассеялись, и под конец в буфете, повторявшем, как в зеркале, очертания всего зала, остались кроме нас только еще какой-то одинокий любитель мартини да буфетчица, которая сидела за стойкой на высоком стуле, нога на ногу, и самозабвенно подпиливала ногти. Относительно этой дамы с пергидрольными белыми волосами, забранными в прическу, напоминавшую гнездо, Аустерлиц заметил, как бы между прочим, что она – богиня уходящего времени. И действительно, за ее спиной, на стене, под гербом Бельгийского королевства, располагалось главное украшение этого заведения – гигантские часы с некогда золоченым, а теперь почерневшим от вокзальной копоти и табачного дыма циферблатом, на котором двигалась кругами стрелка длиной не меньше шести футов. За время наступавших в продолжение нашей беседы пауз мы оба заметили, как бесконечно долго тянется каждая минута и сколь страшным нам всякий раз казался этот, хотя и ожидаемый, рывок стрелки, походившей на карающий меч правосудия, когда от будущего отсекалась очередная шестидесятая доля часа, а стрелка продолжала все дрожать и дрожала так угрожающе, что при взгляде на нее обрывалось сердце. На исходе девятнадцатого столетия, так начал Аустерлиц свой ответ на мой вопрос об истории строительства антверпенского вокзала, когда Бельгия, это еле различимое серо-желтое пятнышко на карте мира, занялась колониальными делами и развернулась на африканском континенте, когда на брюссельских рынках капиталов и сырьевых биржах заключались головокружительные сделки, а бельгийские граждане, одушевленные безграничным оптимизмом, уверовали в то, что их униженная чужеземным господством, раздробленная и внутренне разъединенная страна вот-вот возвысится до мировой державы, в ту самую, для нас, сегодняшних, уже далекую и все же значимую пору король Леопольд, под патронатом какового прогресс, казалось, неудержимо набирал силу, проявил личную инициативу и решил направить неожиданно появившиеся в избытке свободные средства на возведение общественных сооружений, призванных укрепить на международной арене престиж его стремительно развивающегося государства. Одним из таких начинаний, инициированных по высочайшему повелению, и стал спроектированный Луи Деласанри и торжественно открытый по окончании затянувшихся на целое десятилетие строительных работ летом 1905 года, в присутствии монарха, Центральный вокзал фламандской метрополии, в здании которого мы находимся в настоящий момент, сказал Аустерлиц. Образцом, на который, по указанию Леопольда, должен был ориентироваться архитектор, послужил новый вокзал в Люцерне, поразивший воображение короля прежде всего концепцией купола, исполненной драматизма, не свойственного обычным низеньким железнодорожным постройкам², и эту

² Просматривая эти записи, я только теперь вспомнил, что в феврале 1971 года, во время моего короткого пребывания в

концепцию Деласансри сумел воплотить в своем навеянном римским Пантеоном сооружении столь вдохновенно и выразительно, что даже мы, сегодняшние, сказал Аустерлиц, совершенно так, как и задумывал зодчий, вступая в здание, оказываемся охваченными чувством, будто находимся в далеком от всего мирского святилище, в храме, возведенном во славу мировой торговли и международных сношений.



Швейцарии, побывал, среди прочего, и в Люцерне, где посетил музей глетчеров, а потом, по дороге к вокзалу, остановился на мосту и долго там стоял, глядя на вокзальный купол и белоснежные склоны горного массива Пилат, уходящего в ясное зимнее небо, – именно тогда в моей памяти невольно всплыли разъяснения Аустерлица, которые я услышал от него четыре с половиной года назад в Антверпене. Несколько часов спустя, в ночь на пятое февраля, когда я уже крепко спал в номере цюрихского отеля, на люцернском вокзале вспыхнул пожар и распространившееся с невероятной скоростью пламя полностью уничтожило купольный свод. Картины разрушения, которые я на следующий день увидел в газетах и по телевидению и которые потом, на протяжении нескольких недель, не шли у меня из головы, несли в себе нечто пугающее, и я не мог отделаться от ощущения, будто на мне лежит вся вина или, по крайней мере, часть вины за люцернский пожар. И потом, много лет спустя, я часто видел сон, в котором пламя выбивается из-под купола и всполохи играют на склонах заснеженных Альп.

Основные элементы этого монументального строения Деласансри заимствовал из дворцовой архитектуры итальянского Возрождения, сказал Аустерлиц, хотя здесь есть и византийские, а также мавританские реминисценции, и я, наверное, заметил, когда приехал, сказал Аустерлиц, круглые башенки из белого и серого гранита, единственное назначение которых – вызвать у путешественников средневековые ассоциации. Эта нелепая по своей сути эклектика Деласансри, претендующая на то, чтобы соединить в Центральном вокзале, с его мраморным вестибюлем, лестницей и стеклянным плафоном на стальных конструкциях над перронами, прошлое и будущее, представляет собою в действительности логически объяснимый, подлинный стиль новой эпохи, сказал Аустерлиц, и это в полной мере, продолжал он, сочетается с тем, что на возвышенных местах, откуда в римском Пантеоне на входивших обыкновенно взирали боги, в здании антверпенского вокзала размещены в иерархическом порядке главные божества девятнадцатого столетия – горное дело, промышленность, транспорт, торговля и капитал. По всему вестибюлю, как я, должно быть, заметил, идут расположенные достаточно высоко каменные медальоны с различными символами, такими как, например, снопы хлеба, перекрещенные молоты, колеса и прочая, при этом, кстати, такой геральдический мотив, как пчелиные соты, символизирует отнюдь не то, что обычно принято связывать с этим образом, это не природа, поставленная на службу человеку, и не трудолюбие, понимаемое как общественная добродетель, это – принцип аккумуляции капиталов. Центральное же место среди всех этих символов, сказал Аустерлиц, занимает представленное стрелкой и циферблатом время. Над крестообразной лестницей, соединяющей вестибюль с перронами, единственным барочным элементом всего ансамбля, на высоте двадцати метров, на том самом месте, где в Пантеоне на прямой оси портала можно было видеть портрет императора, находились часы; как олицетворение нового всемогущего духа они вознесены над королевским гербом и знаменитым лозунгом «*Endracht maakt macht*»³. С этой позиции, занимаемой часовым механизмом в здании антверпенского вокзала, можно контролировать движение всех пассажиров, и точно так же все пассажиры непроизвольно устремляют взоры на часы и соотносят с ними свои действия. И в самом деле, сказал Аустерлиц, ведь до синхронизации железнодорожных расписаний часы в Лилле или Лютихе шли не так, как они шли в Женеве или Антверпене, и лишь после проведения принудительной унификации, осуществленной в середине девятнадцатого века, время окончательно и бесповоротно утвердило свое господствующее положение в мире. Только придерживаясь предписанного им порядка, мы можем преодолевать гигантские расстояния, отделяющие нас друг от друга. Правда, сказал Аустерлиц, помолчав немного, в том соотношении пространства и времени, с которым мы сталкиваемся во время путешествий, есть что-то иллюзионистское и иллюзорное, вот почему всякий раз, когда мы возвращаемся откуда-нибудь назад, мы никогда с уверенностью не можем сказать, действительно ли мы отсутствовали. С самого начала меня поразило то, как Аустерлиц оттачивает свои мысли в процессе говорения, как ловко у него получалось из рассеянной дробности сложить предельно выверенные фразы и как, извлекая те или иные сведения из своего научного багажа, он, сообщая их собеседнику, шаг за шагом, постепенно приближался к своеобразной метафизике истории, в которой то, о чем он вспоминал, снова наполнялось жизнью. Я до сих пор не могу забыть, как он, завершая свои разъяснения относительно методов, использованных при изготовлении большого зеркала, расположенного в зале ожидания, еще раз походя взглянул на отливавшую тусклым светом поверхность и задался вопросом: «*Combien des ouvriers périrent, lors de la manufacture de telles miroirs, de malignes et funestes affectations à la suite de l'inhalation des vapeurs de mercure et de cyanide*»⁴. И в том же духе, в каком он закончил свой рассказ тем первым вечером, он продол-

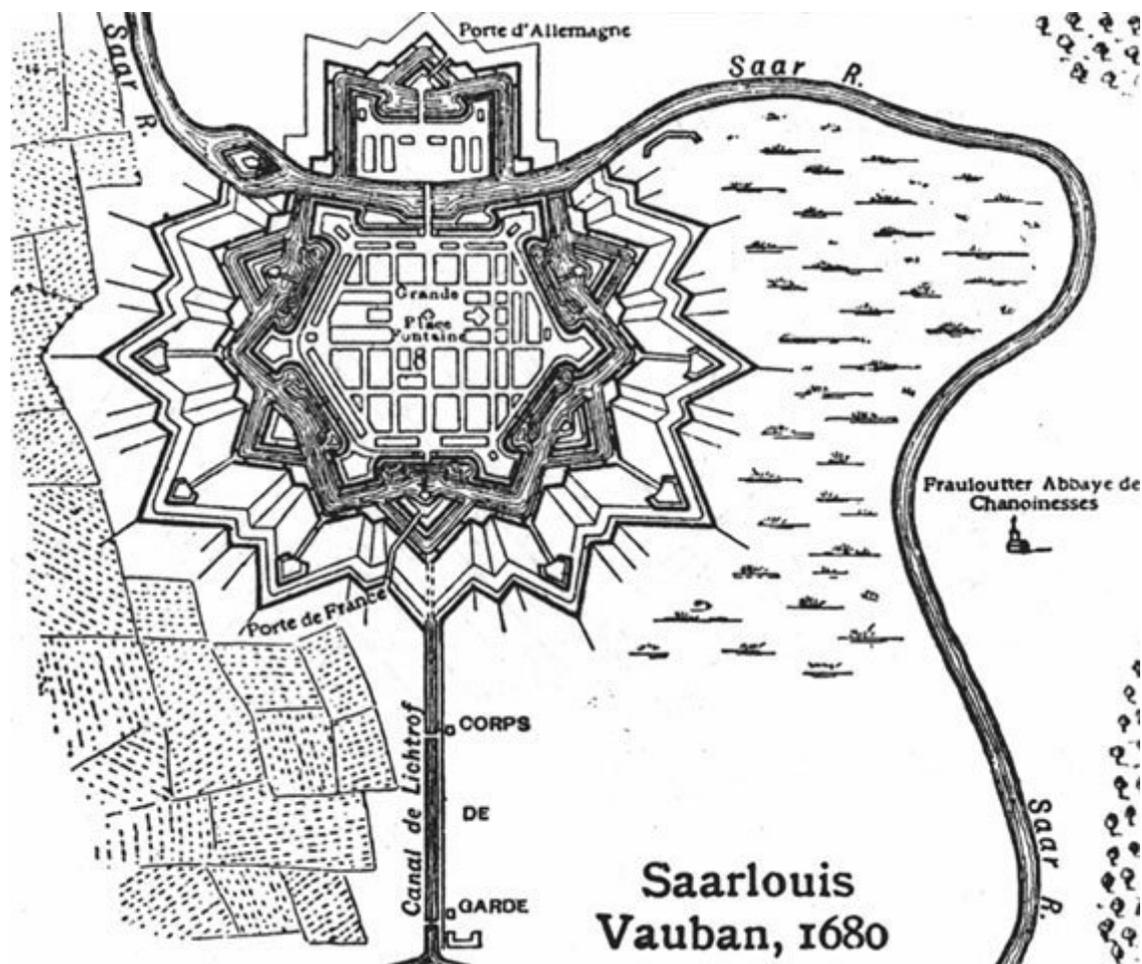
³ В единении – сила (*нидерл.*).

⁴ Сколько рабочих погибло при изготовлении таких зеркал от злокачественных опухолей и других тяжелых заболеваний, вызванных вдыханием паров ртути и цианида (*фр.*).

жал делиться своими наблюдениями, когда мы встретились с ним на другой день в условленном месте, на набережной Шельды, на террасе. Обведя рукой водную ширь, мерцавшую в лучах утреннего солнца, он заговорил о том, что на одном из созданных в середине шестнадцатого века, в эпоху так называемого малого ледникового периода, полотен, принадлежащих кисти Лукаса Валькенборха, изображена замерзшая Шельда со стороны другого берега, а за нею – выдержанный в темных тонах город Антверпен и полоска пологого берега, сходящего на нет. С неба, над собором Богоматери, сыплется мелкий снежок, а там, на реке, на которую мы теперь смотрим три столетия спустя, сказал Аустерлиц, там, на льду, веселятся довольные горожане, простолюдины в землисто-серых кафтанах и благородные особы в черных накидках с белыми брыжами. На переднем плане, чуть справа, изображена упавшая дама. На даме канареечного цвета платье; кавалер, склонившийся над ней с озабоченным видом, – в красных панталонах, выделяющихся на общем тускло-блеклом фоне. Когда я теперь смотрю туда и вспоминаю эту картину с ее крошечными фигурками, мне чудится, будто мгновение, схваченное Лукасом Валькенборхом, не прошло, а длится и поныне, будто канареечная дама только секунду назад запнулась или упала в обморок и черный бархатный капор только сейчас откатился в сторону, будто вся эта связанная с падением сценка, наверняка ускользнувшая от внимания большинства, разыгрывается снова и снова, будто нет ей конца и никто никогда ни за что не сможет тут уже ничем помочь. Мы давно ушли с террасы на берегу Шельды, чтобы прогуляться по центру, но Аустерлиц все продолжал в тот день говорить о следах, которые оставляет боль в истории, испещренной, как он утверждал, бесчисленными еле видимыми линиями. Занимаясь изучением архитектуры вокзалов, сказал Аустерлиц, когда мы, устав от бесконечного хождения, зашли в какое-то бистро на площади Хандсхунмаркт, я не могу отделаться от мыслей о муках расставания и страхе перед чужими краями, хотя эмоции как таковые как будто не имеют отношения к истории строительства. С другой стороны, нельзя не заметить, что чем мощнее задуманное нами сооружение, тем явственнее степень неуверенности, скрывающейся за ним. Так, если обратиться к крепостному строительству, ярким примером которого может служить, в частности, Антверпен, то можно увидеть, как мы, движимые стремлением во что бы то ни стало предотвратить вторжение вражеских сил, оказывались вынужденными последовательно прокладывать все новые и новые линии обороны до тех пор, пока идея концентрических кругов, смещавшихся все дальше и дальше и захватывавших все больше внешнего пространства, не наталкивалась на естественные границы. Глядя на развитие крепостного строительства и отдельные его образцы, созданные самыми разными военными инженерами – от Флориани, Да-Капри и Сан-Микели до Рузенштейна, Бургдорфа, Кохорна, Кленгеля или Монталамбера и Вобана, – не устаешь поражаться, сказал Аустерлиц, с каким упорством поколения фортификаторов, при всех их несомненных талантах, держались за то, как мы сегодня видим, совершенно превратное представление, будто, разработав идеальный план крепости с глухими бастионами и выступающими далеко вперед рavelинами, обеспечивавшими свободный обстрел всей прилегающей к крепости территории, можно создать такую защиту, надежнее которой не будет ничего на свете. Едва ли сегодня найдется кто-нибудь, сказал Аустерлиц, кто имел хотя бы самое отдаленное представление о том море литературы, посвященной возведению крепостей, о тех фантастических расчетах, геометрических, тригонометрических, логистических, лежащих в ее основе, о том немислимом нагромождении специальных слов и терминов, из которых даже простейшие, такие как *escarpe*, *courtine* или *faussebraie*, *reduit* и *glacis*⁵, едва ли доступны нынче пониманию, при этом, однако, нельзя не отметить того очевидного с сегодняшней точки зрения обстоятельства, что уже к концу семнадцатого века наиболее предпочтительной из всех имевшихся систем оказалась в конечном счете двенадцатиугольная форма с опоясывающими рвами, так сказать, выведенный из золотого сечения идеальный тип, каковой и в самом деле,

⁵ Эскарп, куртина, фоссебрея, редут и гласис (*воен., фр.*).

как это хорошо видно по замысловатым чертежам крепостных сооружений вроде Кувордена, Нёф-Бризака или Саарлуи, понятен даже неподготовленному дилетанту, способному без особых усилий разглядеть в нем символ абсолютной власти, равно как и воплощение гения инженеров, эту власть обслуживающих.



Практика ведения войн, однако, показала, что и эти звездообразные конструкции, возводившиеся повсеместно в восемнадцатом веке и значительно усовершенствованные, не выполнили своего предназначения, ибо, сосредоточив все внимание на разработке этой схемы, никто не думал о том, что самые мощные крепости притягивают естественным образом и самые мощные силы противника и что чем больше усилий тратится на укрепления, тем больше шансов уйти в глухую оборону и оказаться в результате обреченными на то, чтобы со своего укрепленного всеми мыслимыми средствами места в бессилии наблюдать за тем, как войско противника благополучно занимает выбранную *по своему усмотрению* территорию, оставляя безо всякого внимания превращенную в настоящий арсенал, ошетинившуюся пушками и переполненную людьми крепость. Вот почему то и дело случалось, что именно сосредоточенность на мерах по укреплению, обусловленная, как представляется, сказал Аустерлиц, общей склонностью к параноидальному усердию, приводила к тому, что неприятель мог преспокойно наслаждаться оголенностью предоставленного в его полное распоряжение остального пространства, не говоря уже о том, что перманентное усложнение строительных планов и связанное с этим увеличение сроков их реализации повышало вероятность устаревания возводимого сооружения еще на стадии строительства, а то и раньше, ибо артиллерия, как и стратегические концепции, успевала за это время шагнуть далеко вперед, подчиняясь получившему широкое распро-

странение принципу: движение – все, покой – ничто. И если, случалось, какая-нибудь крепость и в самом деле подвергалась испытанию на прочность, то это влекло за собой лишь невиданное расточительство военных материалов, не принося никаких ощутимых результатов. Нигде это не проявилось с такою наглядностью, сказал Аустерлиц, как здесь, в Антверпене, когда в 1832 году, вследствие продолжавшейся и после провозглашения нового королевства распри за отдельные части бельгийской территории, пятидесятитысячное французское войско на протяжении трех недель осаждало построенную Паччоло и укрепленную герцогом Веллингтоном цитадель, обнесенную по его указанию дополнительным кольцом оборонительных сооружений и занятую к тому моменту голландцами, которые удерживали ее до тех пор, пока французам, в середине декабря, не удалось, зайдя со стороны уже захваченного форта Монтебелло, взять штурмом полуразрушенный внешний вал у башни Святого Лаврентия, а затем подойти вплотную к стенам крепости. Осада Антверпена оставалась на протяжении нескольких лет, как по затраченным усилиям, так и по интенсивности, уникальным эпизодом в истории войн, сказал Аустерлиц; ее кульминацией стала достопамятная бомбардировка, когда на цитадель обрушилось семьдесят тысяч тысячепудовых бомб, выпущенных из гигантских мортир изобретения полковника Пексана и разрушивших все до основания, за исключением нескольких казематов. Голландский генерал барон де Шассе, убеленный сединами командующий крепостью, от которой ничего не осталось, кроме жалкой груды камней, уже распорядился заложить мины, чтобы пустить на воздух памятник своей верности и своего геройства, когда ему, в последнюю минуту, передали депешу короля, разрешавшую пойти на капитуляцию. Несмотря на то что взятие Антверпена продемонстрировало со всею очевидностью, сказал Аустерлиц, всю абсурдность фортификационного и осадного искусства, из этого примера непостижимым образом не было извлечено никаких уроков, кроме одного: было решено, что при восстановлении кольца укреплений вокруг города их нужно будет сделать более мощными и выдвинуть еще дальше вперед. В соответствии с этим в 1859 году старую крепость вкуче со всеми форпостами сровняли с землей и приступили к возведению так называемой *enciente*⁶ длиной в девять-десять миль, а также форта на расстоянии восьми миль, то есть более чем в получасе ходьбы от этой «*enciente*», – мероприятие, оказавшееся уже по прошествии чуть менее двадцати лет малооправданным с учетом увеличившейся за это время дальнобойности орудий и разрушительной силы взрывчатых веществ и потребовавшее внесения новых поправок, в соответствии с которыми теперь, по той же логике, было начато строительство нового оборонительного кольца из пятнадцати еще более укрепленных фортов, удаленных на шесть-девять миль от «*enciente*». Строительство продолжалось добрых тридцать лет, и на каком-то этапе, как и следовало ожидать, сказал Аустерлиц, с неизбежностью возник вопрос о том, что, может быть, имело бы смысл, ввиду разрастания Антверпена, вызванного его стремительным промышленным и коммерческим развитием, в результате которого город уже давно вышел за старые границы, перенести линию фортов еще дальше мили на три, что, правда, увеличило бы протяженность оборонительного пояса до тридцати миль и придвинуло бы его вплотную к городской черте Мехелена, не говоря уже о том, что всей бельгийской армии не хватило бы на то, чтобы составить гарнизон, необходимый для обслуживания укрепления такого масштаба. В итоге, сказал Аустерлиц, решили просто несколько усовершенствовать уже запущенную в строительство систему, которая, как всем было известно, давно не соответствовала новым требованиям. Последним звеном в этой цепи, сказал Аустерлиц, стал форт Бреендонк, заверченный перед самой Первой мировой войной и оказавшийся, как это выяснилось всего за несколько первых месяцев ведения войны, совершенно непригодным для защиты города и страны. На примере подобного рода сооружений, – приблизительно так, поднимаясь из-за стола и перекидывая рюкзак через плечо, завершил Аустерлиц свои рассуждения, которыми он поделился

⁶ Крепостная ограда (*фр.*).

со мной тогда, на Хандсхунмаркте в Антверпене, – хорошо видно, что в отличие от, скажем, птиц, которые тысячелетиями строят свои гнезда одним и тем же образом, мы склонны постоянно все менять и развиваем бурную деятельность, даже если она выходит за рамки разумного. Хорошо бы когда-нибудь, добавил он еще, составить каталог возведенных нами зданий и расположить их все по ранжиру сообразно размерам, тогда бы сразу стало ясно, что только служебные постройки, попадающие в раздел строений ниже нормы, такие как охотничья хижина, эрмитаж, домик зрителя шлюзов, садовый павильон, парковая детская усадьба, сообщают, по крайней мере, ощущение мира и покоя, чего нельзя сказать, к примеру, об архитектурных гигантах, вроде брюссельского Дворца юстиции, который не может понравиться ни одному человеку, находящемуся в здравом уме. В лучшем случае этому зданию можно удивляться, но само такое удивление есть всего лишь предтеча ужаса, ибо подсознательно мы, конечно, понимаем, что эти запредельно разросшиеся конструкции уже сейчас отбрасывают тень будущего разрушения и что они, по сути дела, с самого начала задумывались с учетом их последующего бытования в виде руины. Эти фразы, сказанные Аустерлицем почти на ходу, все еще звучали у меня в голове, когда я следующим утром, в надежде на то, что, быть может, он объявится снова, пил кофе, сидя в том же бистро на Хандсхунмаркте, где мы расстались накануне после того, как он, без лишних слов, попрощался и ушел. Поджидая его, я листал газеты и неожиданно наткнулся, то ли в «Газет ван Антверпен», то ли в «Ла Либр Бельжик», сейчас не помню, на небольшую заметку, посвященную крепости Бреендонк, в которой немцы, как сообщалось там, уже в 1940 году, получив когда-то принадлежавший им форт, сразу же устроили концентрационный лагерь, каковой просуществовал до августа 1944 года, а затем, в 1947 году, был превращен, с полным сохранением обстановки, в национальный мемориал и музей бельгийского Сопrotивления, действующий поныне. Если бы накануне в разговоре с Аустерлицем не прозвучало название Бреендонк, едва ли я отреагировал бы на эту информацию, на которую я, скорее всего, просто не обратил бы внимания, не говоря уже о том, чтобы посетить эту крепость, в которую я отправился в тот же день. Поезд, на который я взял билет, шел добрых полчаса, пока наконец добрался до Мехелена, где прямо на вокзальной площади нужно было пересесты на автобус, чтобы доехать до местечка Виллеброк, в непосредственной близости от которого среди полей, на территории общей площадью около десяти гектаров, и располагалась, напоминая остров в океане, крепость, обнесенная земляным валом, забором из колючей проволоки и глубоким рвом. Было необычно жарко для этого времени года, и с юго-запада тянулись большие кучевые облака, когда я, с входным билетом в руках, ступил на мост. После вчерашней беседы в голове у меня сохранился образ звездообразного бастиона с высокими стенами, точно повторяющими геометрический рисунок общего плана, но вместо этого моему взору предстало приземистое сооружение с выступающими округлостями, которые напоминали скорее то ли чудовищные горбы, то ли подгоревшие караваи, вылепленные из бетона, – похоже, подумалось мне, на широкую спину неведомого чудища, которое поднялось, словно кит из морской пучины, из недр фламандской земли. Я побоялся сразу заходить в черные ворота крепости и вместо этого обошел ее снаружи, шагая по неестественно темной, зеленой, почти что синей траве, произрастающей здесь, на острове. С какой бы стороны я ни пытался взглянуть на крепость, в ней не обнаруживалось никакого ясного плана, лишь сплошные бессистемные уступы, извивы, углубления, не укладывавшиеся в мои представления и потому не увязывавшиеся ни с одной известной мне формой, выработанной человеческой цивилизацией, – впрочем, их невозможно было соотнести даже с безмолвными доисторическими реликтами.

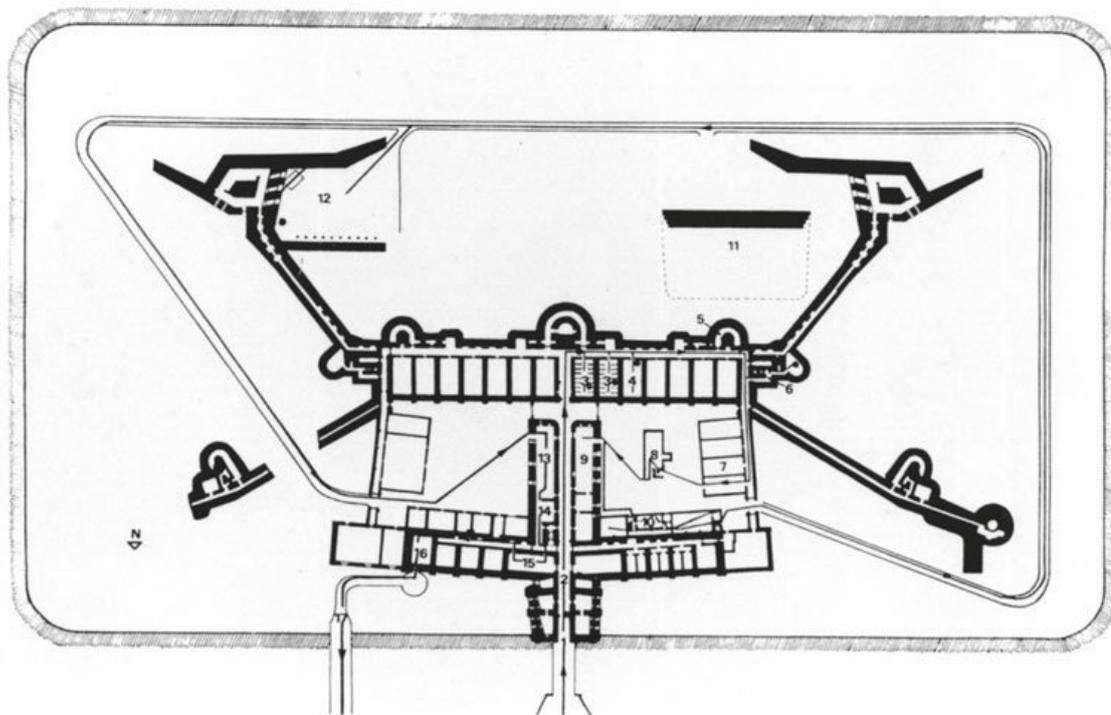


И чем дольше я удерживал на ней мой взгляд, чем чаще она, как я чувствовал, принуждала меня опускать глаза, тем непостижимее казалась мне эта махина. Покрытая местами глубокими ранами, с рваными крошащимися краями, разъеденная сыростью, разукрашенная заскорузлыми известковыми подтеками, напоминавшими следы птичьего помета, эта крепость являла собою непревзойденное монолитное воплощение уродства и слепого насилия.



Позже, изучая симметричный план форта, разглядывая эти растопыренные клешневидные линии, эти выступающие, как глаза навывкате, полукруглые бастионы на фронтальной части и торчащий сзади, по центру, хвост-обрубок, я, несмотря на всю его, теперь мне вполне очевидную, рациональную структуру, не мог отделаться от мысли, что передо мною в лучшем

случае схематичное изображение некоего ракообразного существа и уж никак не созданное человеческим разумом сооружение.



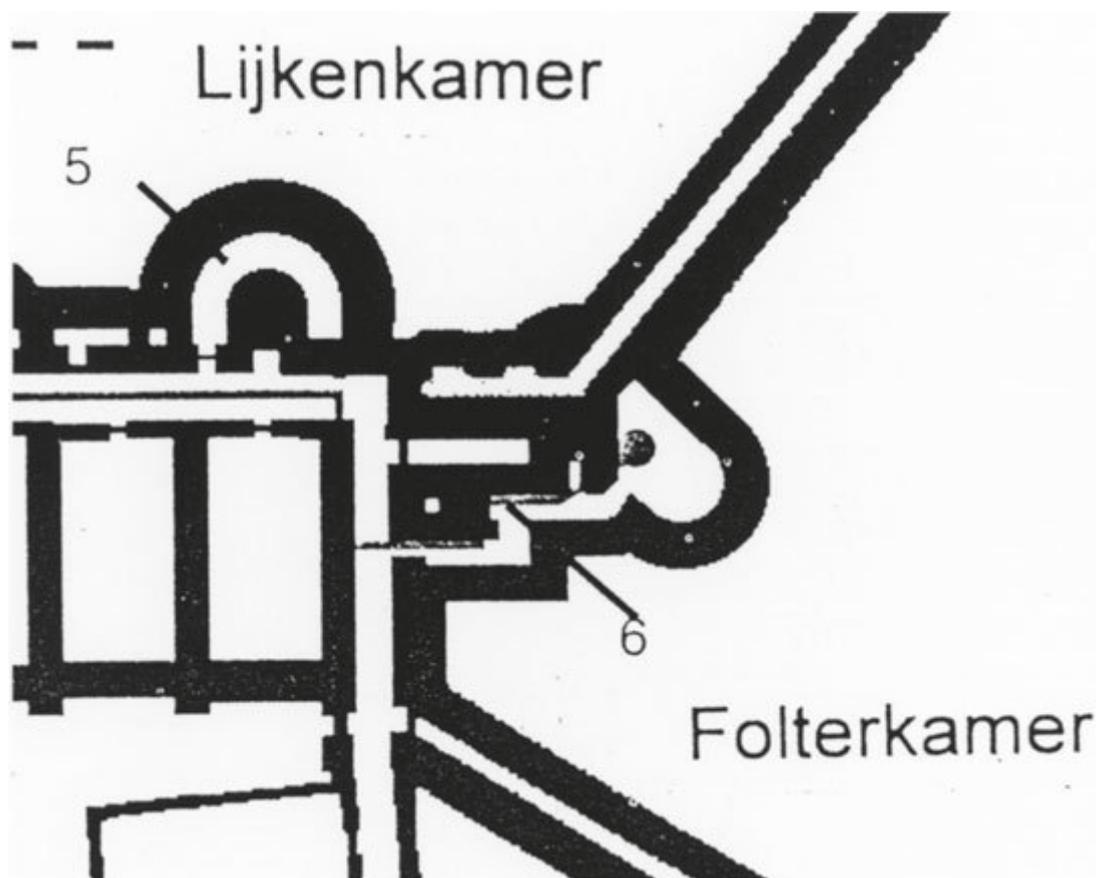
Дорога вокруг крепости проходила мимо лобного места, затоптанного до черноты, и рабочей зоны, где заключенные должны были разбирать подпиравшую бастионы насыпь, то есть перетаскивать щебень и землю, не меньше четверти миллиона тонн щебня и земли, не имея в своем распоряжении ничего, кроме лопат и тачек. Эти тачки, один экземпляр которой можно было увидеть в вестибюле музея, поражали своей, наверняка и по тем временам, устрашающей примитивностью. Они представляли собою нечто вроде носилок, к которым с одной стороны были приделаны две грубые ручки, а с другой – деревянное колесо, обитое железом. На поперечинах этих носилок крепился сколоченный из неотесанных досок ящик со скошенными боковинами, напоминавший по своей незатейливой конструкции так называемые говновозки, которыми пользуются наши крестьяне, когда чистят хлев, с той только разницей, что в Бреендонке тележки были в два раза больше и сами по себе, без всякого груза, весили не меньше центнера. Я не мог себе представить, как заключенные, основная часть которых до ареста и помещения в лагерь никогда не занималась физическим трудом, могли катить эти тележки, заполненные тяжелыми отходами, по выжженной солнцем, изрытой закаменевшими бороздами или раскисшей под дождем, превратившейся в кашу глине, как они наваливались всем телом, чтобы сдвинуть с места груз, толкали до тех пор, пока не разрывалось сердце или не следовал удар по голове, когда кто-нибудь из надзирателей, видя, что дело застопорилось, пускал в ход лопату и бил черенком. Вообразить все эти истязания и бесчинства, тянувшиеся изо дня в день, из года в год здесь, в Бреендонке, равно как и в других крупных и мелких лагерях, мне было трудно, зато я безо всякого труда мог представить себе другое: когда я наконец зашел в крепость и заглянул в расположенную справа, у входа, комнату отдыха для офицеров СС, скрытую за стеклянной дверью, сквозь которую можно было рассмотреть столы, скамейки, пузатую печку и аккуратно выведенные готическими буквами благочестивые изречения, перед моим внутренним взором тут же предстали, как живые, все эти почтенные отцы семейств и примерные сыновья из Вилсбиурга и Фулсбюттеля, из Шварцвальда и Мюнстерланда, кото-

рые сошлись тут после трудового дня и теперь играли в карты или писали письма любимым, – я видел их будто воочию, что и понятно, ведь среди них прошли первые двадцать лет моей жизни. Воспоминание о тех четырнадцати объектах, которые предлагались посетителям Бреендонка, следовавшим по маршруту от входа к выходу, несколько померкли с течением времени или, скорее, затемнились, если так можно выразиться, в тот же день, когда я посетил крепость, может быть, потому, что я в действительности не желал видеть того, что там можно было увидеть, а может быть, и потому, что в слабом свете редких лампочек, тускло освещавших этот отъединенный на веки вечные от остальной природы мир, контуры предметов совершенно размывались и еле различались.



Даже теперь, когда я силюсь вспомнить это, когда я держу перед собою ракообразную схему Бреендонка и вчитываюсь в описание, перебирая слова: *бывшая административная часть, типография, бараки, зал Жака Оша, камера-одиночка, морг, мемориальная камера, музей*, – даже теперь эта тьма не рассеивается, а, наоборот, сгущается при мысли о том, как мало мы в состоянии удержать в нашей памяти, как много всего постоянно предается забвению, с каждой угасшей жизнью, как мир самоопустошается оттого, что бесчисленное множество историй, связанных с разными местами и предметами, никогда никем не будут услышаны, записаны, рассказаны, истории вроде той, которую, например, можно было бы рассказать о соломенных тюфяках, представив себе, как они лежали, распластавшись тенью, на многоярусных нарах и постепенно становились все тоньше и короче, потому что за долгие годы набивка успевала превратиться в труху, из-за чего они скукоживались, словно превращались в бранные оболочки тех, кто лежал тут когда-то во тьме, – так, сколько мне помнится, подумал я тогда. Еще мне вспомнилось, как я, двигаясь по туннелю, образовавшему своеобразный хребет всей крепости, изо всех сил старался избавиться от навязчивого чувства, неизменно накатывавшего на меня в нехороших местах, будто с каждым шагом воздуха становится все меньше, а тяжесть становится все больше. Тогда, во всяком случае в тот беззвучный полуденный час раннего лета 1967 года, когда я, будучи единственным посетителем, находился в недрах крепо-

сти Бреендонк, мне стоило невероятных усилий заставить себя миновать то место, где в конце второго туннеля ответвлялся низкий, не выше человеческого роста, и уходящий, насколько я помню, под уклон проход, ведущий в один из казематов.



Этот каземат, в котором сразу возникает ощущение, будто на тебя давит многопудовая толща бетона, представлял собою тесное помещение, словно бы распадающееся на две части, одна из которых сходит углом на нет, другая же закругляется, при этом само помещение находилось на целый фут ниже уровня ведущего к нему коридора, так что все это вместе взятое напоминало не столько подземелье, сколько глубокую яму. Я стоял и смотрел в эту яму, на уходящий в никуда пол, на гладко-серые каменные плиты, на сливную решетку посередине и жестяную бадью подле нее, и перед моим внутренним взором из глубины подсознания всплыла наша прачечная в Ф., а следом за нею, вызванная видом железного крюка, свисавшего с потолка на веревке, явилась мясная лавка, мимо которой я проходил каждый день по дороге в школу и, случалось, видел, как Бенедикт, облачившись в резиновый фартук, льет воду из толстого шланга на кафель. Никто не может точно объяснить, что происходит в нас, когда резко распаивается дверь, за которой живут ужасы детства. Но я прекрасно помню, как тогда, в каземате Бреендонка, мне ударил в нос омерзительный запах щелока, и этот запах, в силу какого-то неведомого заскока в моей голове, соединился с ненавистным мне словом, столь любимым моим отцом, словом «щетка-чесалка», отчего у меня перед глазами заплясали черные точки и я невольно прислонился лбом к пупырчатой стене в синеватых подтеках, покрытой, как мне тогда казалось, капельками пота. Нельзя сказать, что дурнота оживила во мне картины так называемых допросов с пристрастием, каковые проводились в этом месте приблизительно в те времена, когда я появился на свет, ведь я в тот момент обо всем об этом еще не имел ни малейшего представления и только несколько лет спустя прочитал у Жана Амери о той чудовищной физической близости, которая существовала между мучающими и мучимыми, о тех

пытках, которые он перенес тут, в Бреендонке, о том, как ему связывали руки за спиной и вздергивали на дыбу, о том, что у него до сих пор стоит в ушах хруст выворачивающихся из суставов костей и он не может забыть, как часами висел в пустоте с заломленными руками: «la pendaison par les mains liées dans jusqu'à évanouissement»⁷ – так называет Амери эту процедуру в своих воспоминаниях, помещенных в книге «Ботанический сад», составленной Клодом Симоном, который снова и снова обращается к запасникам собранных им живых свидетельств и приводит, в частности на двести тридцать пятой странице, отдельные эпизоды из жизни некоего Гастона Новелли, который, подобно Амери, был подвергнут аналогичной пытке. Этой истории предпослана выдержка из дневника генерала Роммеля, запись от двадцать шестого октября 1943 года, где, среди прочего, генерал отмечает полную недееспособность итальянской полиции, что, по его мнению, требует безотлагательного вмешательства, дабы иметь возможность навести твердой рукой порядок. В ходе проведенных немцами мероприятий по укреплению порядка Новелли был арестован и, как пишет Симон, препровожден в Дахау. О том, что ему довелось там пережить, Новелли никогда никому не рассказывал, и Симону, как он ни старался, так и не удалось его разговорить, кроме одного-единственного раза, о котором он сообщает в книге, когда Новелли сказал ему, что после освобождения из лагеря вид всякого немца, этого так называемого цивилизованного существа, будь оно мужского или женского пола, был ему настолько невыносим, что он, едва оправившись, сел на первый подвернувшийся корабль и отправился в Южную Америку, где устроился старателем. Какое-то время Новелли жил в джунглях, найдя пристанище в племени мелкорослых туземцев с медно-блестящей кожей, каковые в один прекрасный день бесшумно возникли перед ним, будто из воздуха, и приняли его к себе. Он усвоил их повадки и обычаи, а также составил, как мог, словарь их языка, состоящего по большей части из одних только гласных, первое место среди которых занимала многообразно варьируемая в зависимости от ударений и акцентуации гласная «А», составляющая основу этого языка, о котором, как пишет Симон, в институте языковедения Сан-Паулу никто не имел ни малейшего представления. Позднее, вернувшись на родину, Новелли занялся живописью и рисованием. Основным мотивом, который он разрабатывал в разных сочетаниях, комбинациях и видах, был мотив буквы «А» – «filiform, gras, soudain plus épaïs oil plus grand, puis de nouveau mince boiteux»⁸, – которую он прочерчивал по нанесенному слою краски то карандашом, то черенком от кисточки, то каким-нибудь иным, более грубым инструментом, выписывая целые ряды теснящихся знаков, всегда одних и тех же, но никогда не повторяющихся, сливающихся в одну волнообразную линию, словно воспроизводящую амплитуду колебания звука, издаваемого при долгом протяжном крике.

AA

Несмотря на то что тем июньским утром 1967 года, когда я в итоге отправился в крепость Бреендонк, Аустерлиц так и не обнаружился на антверпенской площади Хандсхунмаркт, наши пути тем не менее, мне самому совершенно непостижимым образом, неизменно пересекались почти всякий раз, когда я, безо всякой подготовки, спонтанно предпринимал очередную вылазку в Бельгию. Уже через несколько дней после того, как мы познакомились с ним в зале ожидания Центрального вокзала, он повстречался мне во второй раз на юго-западной окраине Люттиха, в одном из промышленных районов, куда я, начав свое путешествие от Сен-Жорж-сюр-Мёз и Флемаля, добрался, двигаясь пешком, только под вечер. Солнце как раз пробило чернильно-синюю стену туч, возвещавших приближение грозы, и все эти фабрично-заводские цеха, дворы, длинные ряды жилых рабочих домов, кирпичные стены, шиферные крыши, окон-

⁷ Подвешивание за связанные руки в почти бессознательном состоянии (фр.).

⁸ Нитевидная, жирная, потом вдруг еще жирнее или крупнее, потом снова тонкая, колченогая (фр.).

ные стекла будто запылялись изнутри. Когда первые капли дождя забарабанили по улицам, я поспешил укрыться в крошечной распивочной, называвшейся, кажется, «Кафе надежд», где я, к своему немалому удивлению, обнаружил Аустерлица, который сидел за пластмассовым столиком, углубившись в свои записки. Как потом случилось и в дальнейшем, мы тут же продолжили наш разговор, не тратя лишних слов по поводу того, что мы вот снова встретились, причем в таком месте, куда ни один нормальный человек обычно не забредает. С нашего места в «Кафе надежд», где мы просидели до самой ночи, можно было смотреть в окно на долину, некогда славившуюся, вероятно, своими заливными лугами, а теперь освещавшуюся отсветами всполохов на темном небе от работающих мартенов расположенного здесь металлургического гиганта, на который мы оба неотрывно глядели на протяжении тех двух часов, каковые понадобились Аустерлицу, чтобы поведать мне о том, как утвердившаяся в умах людей девятнадцатого столетия филантропическая идея создания идеальных рабочих городов совершенно неожиданным образом трансформировалась на практике в строительство трудовых казарм, что случается достаточно часто, сказал, помнится, Аустерлиц, с нашими наилучшими планами, имеющими обыкновение в процессе реализации превращаться в свою полную противоположность. Прошло несколько месяцев после этой встречи в Люттихе, когда я снова совершенно случайно натолкнулся на него в Брюсселе, на горе, где прежде стояла городская виселица, а теперь возвышался Дворец юстиции, на ступенях которого я и обнаружил Аустерлица, тут же сообщившего мне, что данное сооружение представляет собою беспримерное с точки зрения истории европейской архитектуры нагромождение каменных параллелепипедов.



Строительство этого уникального архитектурного монстра, о котором Аустерлиц планировал в то время написать специальную работу, было начато, как он мне рассказал, в восьмидесятые годы прошлого века по настоятельному требованию брюссельской буржуазии, при-

чем начато еще до того, как был представлен грандиозный, детально проработанный проект, подготовленный неким Жозефом Пулартом, вследствие чего, сказал Аустерлиц, в этом здании, объем которого составляет семьсот тысяч кубометров, появились лестницы и коридоры, которые никуда не ведут, не говоря уже о том, что тут есть залы и помещения, которые не имеют дверей и в которые никому не попасть, – этакая замурованная пустота, воплощающая собою сокровенную тайну всякого санкционированного насилия. Аустерлиц рассказал, как он, разыскивая масонский лабиринт инициации, каковой, как он слышал, мог находиться либо в подвале, либо на чердаке дворца, часами бродил по каменным отрогам, блуждал по колонным лесам, минуя гигантские статуи, шагая по лестницам, вниз-вверх, вниз-вверх, и за все это время ни одна душа не полюбопытствовала, какая такая нужда привела его сюда. Иногда, устав от длинных переходов или же для того, чтобы сориентироваться по небу, он останавливался у одного из окон, утопленных в глубоких нишах, и смотрел на теснящиеся, наползающие друг на друга, наподобие паковых льдов, свинцово-серые крыши дворца, заглядывал в каменные щели и узкие двory-колодцы, в которые никогда не проникает ни один луч света. Он все ходил и ходил по этим длинным коридорам, рассказывал дальше Аустерлиц, то двигаясь слева направо, то справа налево, а потом все прямо и прямо, без конца, минуя высокие двери, а несколько раз ему пришлось перебираться по хлипким деревянным лестницам, напоминавшим временные строительные мостки, которые неожиданно возникали в разных местах и вели куда-то в сторону от основных магистралей, на пол-этажа вниз или на пол-этажа вверх, а то куда-то вбок, в тупик, где громоздились составленные тут ненужные шкафы, кафедры, письменные столы, офисные кресла и прочие предметы обстановки, как будто там, за ними, кто-то основательно забаррикадировался, чтобы выдержать долгую осаду. Рассказывали – Аустерлиц слышал это якобы собственными ушами, – будто в истории Дворца юстиции с его необозримым и чрезвычайно запутанным, выходящим за все мыслимые пределы пространством было немало случаев, когда в каком-нибудь пустующем чулане или в одном из отдаленных коридоров вдруг появлялось то или иное мелкое заведение, вроде табачной лавки, или букмекерской конторы, или рюмочной, а однажды объявился некий предприимчивый человек по имени Ахтербос, который даже посягнул на мужской туалет, располагавшийся в полуподвальном этаже и превращенный им, после того как он установил в предбаннике стол с тарелкой для монет, в общедоступное заведение для отправления естественных надобностей, куда мог зайти всякий с улицы и воспользоваться предоставляемыми услугами, к числу которых, вследствие появления чуть позже ассистента, неплохо владевшего гребенкой и ножницами, какое-то время относилась и стрижка. Подобного рода апокрифические истории, контрастировавшие с его обычной строгой деловитостью, Аустерлиц нередко рассказывал мне и потом, во время наших последующих встреч, как это было, к примеру, когда однажды, тихим ноябрьским вечером, мы сидели в каком-то кафе-бильярдной в Тернойцене – я как сейчас помню хозяйку, женщину в очках с толстыми стеклами, которая сидела и вязала носок ядовито-зеленого цвета, помню уголь в горящем камине, помню сырые опилки на полу и горький запах цикория, – мы сидели и смотрели сквозь большое окно, обрамленное разлапистым фикусом, на широченное, серо-туманное устье Шельды. Как-то раз, накануне Рождества, Аустерлиц попался мне навстречу на пешеходной улице в Зеебрюгге, поздним вечером, когда вокруг уже не было ни одной живой души. Выяснилось, что мы оба взяли билеты на один и тот же паром, вот почему мы не спеша направились вместе в сторону гавани, слева – пустынное Северное море, справа – высокие фасады прилепившихся к дюнам человеческих муравейников, внутри которых мерцали голубыми огоньками телевизоры, излучавшие странно неровный, призрачный свет. Когда наш паром отчалил, стояла уже ночь. Мы вышли на корму. Белый след терялся в темноте, и я прекрасно помню, что нам обоим показалось, будто мы видели несколько снежинок, мелькнувших в свете фонарей. Только во время этого ночного путешествия, когда мы пересекали канал, я, кстати сказать, узнал из фразы, брошенной Аустерлицем как бы мимоходом, о том, что он служит в лондон-

ском Институте искусствознания, где у него ставка доцента. Поскольку с Аустерлицем практически невозможно было вести каких бы то ни было частных бесед, касавшихся моей или его персоны, и потому никто из нас не знал, откуда кто родом, мы, со времени нашей первой антверпенской встречи, разговаривали по-французски: я – с постыдной неуклюжестью, он, напротив, – с таким изяществом и совершенством, что я довольно долго считал его настоящим французом. Когда же мы перешли на более удобный для меня английский, я, помнится, испытал некоторое странное смущение, когда в моем собеседнике обнаружилась скрытая дотоле неуверенность, выражавшаяся в незначительных языковых ошибках и легком заикании, явно мешавших ему, если судить по тому, как крепко он стискивал тогда побелевшими пальцами свой очечник, который неизменно держал в левой руке.

В последующие годы я, наезжая в Лондон, неизменно заходил к Аустерлицу на работу, в институт, который располагался в Блумсбери, неподалеку от Британского музея. Час, а то и два я проводил, как правило, в его тесном кабинете, который походил на книжную лавку и в котором, среди всех этих пухлых томов, громоздившихся на полу, возле забитых книгами полок, едва хватало места для него самого, так что сажать учеников уже было просто некуда.



Для меня, начавшего свое образование в Германии и так и не сумевшего ничему научиться у всех этих ученых мужей, занимавших прочные позиции в области гуманитарных знаний и ступивших на академическую стезю еще в тридцатые-сороковые годы, в эпоху, от которой они унаследовали лелеемую ими по сей день мифологию силы, – для меня Аустерлиц, надо признаться, стал первым после моего учителя начальной школы педагогом, которого я мог слушать. Я и по сей день прекрасно помню, с какою легкостью усваивал я тогда его, как он их назвал, мыслительные опыты, когда он принимался рассказывать о строительном стиле эры капитализма, которым он занимался со студенческой скамьи, и говорил подробно о мании порядка и страсти к монументальности, нашедших свое выражение в судебных палатах и пенитенциарных учреждениях, в зданиях вокзалов и бирж, оперных театров и психиатрических клиник, равно как и в устроенных по растровому принципу поселений для трудящихся. Проводимые им изыскания, сказал мне как-то Аустерлиц, имели первоначально своей целью написание диссертации, каковая уже давно осталась позади, и все это в итоге выли-

лось в бесконечный процесс собирания материала для совершенно иной, опирающейся на его собственные взгляды работы, посвященной семейному сходству, которое отличает данные постройки. Отчего он решил обратиться к такой безграничной теме, сказал Аустерлиц, он не знает. Наверное, потому, что не нашлось никого, кто вовремя, когда он еще только приступил к своим исследованиям, отсоветовал бы заниматься подобными штудиями. Вместе с тем, едва ли это повлияло бы на ту, живущую во мне и по сей день, сказал Аустерлиц, мне самому не вполне понятную тягу, которой я неизменно следую и которая каким-то образом соотносится с довольно рано пробудившейся во мне восторженной любовью к идее системной, сетевой коммуникации, представленной, например, в структуре железнодорожной сети. Еще на младших курсах, сказал Аустерлиц, и позже, во время своего первого длительного пребывания в Париже, он почти ежедневно, предпочитая утренние или вечерние часы, отправлялся на один из крупных вокзалов, Северный или Восточный, чтобы посмотреть, как въезжают паровозы под зачерненные копотью стеклянные своды или как тихонько трогаются ярко освещенные, загадочные пультмановские поезда и отправляются в ночь, словно скользящие по водной глади корабли, что уходят в дальнее плавание. Нередко на этих парижских вокзалах, которые он воспринимал как место, где одновременно обитают счастье и несчастье, он попадал в крайне опасные и совершенно непостижимые даже для него самого завихрения чувств. Я как сейчас вижу перед собой Аустерлица, который, сидя в своем кабинете, в Лондоне, говорит, обращаясь не столько ко мне, сколько к себе, об этом своем пристрастии, названном им впоследствии вокзаломанией, и это был единственный раз, когда он позволил себе приоткрыть потаенную жизнь своей души, ибо он избегал откровенностей за все время нашего общения, продолжавшегося до тех пор, пока я, в конце 1975 года, не решил вернуться в Германию, на родину, с намерением осесть тут, в этой стране, ставшей за девять лет моего отсутствия мне совершенно чужой. Насколько я помню, я отправил Аустерлицу из Мюнхена несколько писем, но все они так и остались без ответа, либо потому, что Аустерлиц был в отъезде, так думал я тогда, либо потому, что ему не хотелось писать в Германию, как думается мне теперь. Каковы бы ни были причины его молчания, наши отношения прервались, и я не попытался их возобновить, когда, менее чем год спустя, во второй раз принял решение покинуть Германию и снова поселиться на острове. Конечно, я мог бы сообщить Аустерлицу о непредвиденном изменении моих жизненных планов. Но я не сделал этого шага, и не сделал, наверное, потому, что вскоре после моего возвращения у меня настали слишком скверные времена, чтобы я мог еще интересоваться жизнью других людей, и только возобновление моих давно заброшенных занятий, когда я снова начал писать, помогло мне постепенно выкарабкаться из того тяжелого положения, в каком я оказался. Как бы то ни было, за все те годы я не слишком часто вспоминал Аустерлица, а если вспоминал, то тут же забывал, так что продолжение нашего прежнего общения, довольно тесного и вместе с тем достаточно дистанцированного, состоялось лишь два десятилетия спустя, в декабре 1996 года, и стало возможным в результате странного стечения обстоятельств. Я находился как раз в смятенном состоянии духа, оттого что, листая телефонную книгу в поисках какого-то адреса, вдруг обнаружил, что мой правый глаз, буквально, так сказать, за одну ночь, почти полностью утратил зрение. И даже когда я отрывал взгляд от раскрытой страницы и направлял его на фотографии, висевшие на стене, мой правый глаз видел лишь ряд темных и странно искаженных форм – знакомые мне до мельчайших деталей лица и пейзажи растворились, превратившись в лишенную отличительных признаков, черную, устрашающую штриховку. При этом меня не оставляло чувство, будто на периферии глазного поля все образы сохраняют прежнюю ясность и нужно лишь сместить немного направление взгляда, чтобы исчезла эта, как мне тогда казалось, истерическая слепота.

Однако сколько я ни пытался поймать четкую картинку, мне так и не удалось, надо сказать, добиться желаемого результата. Наоборот, серые поля только еще больше вытянулись, и на каком-то этапе, когда я начал попеременно смотреть то одним, то другим глазом, чтобы

сравнить результат, мне даже показалось, будто теперь и левый глаз видит гораздо хуже. Я страшно разнервничался из-за этого, поскольку думал, что столь раннее ослабление зрения будет теперь только прогрессировать, и почему-то вспомнил о том, что вплоть до конца девятнадцатого века, как я вычитал где-то, оперным певицам перед самым выходом на сцену, равно как и юным барышням, когда их представляли потенциальному жениху, капали на сетчатку несколько капель дистиллированной жидкости, произведенной из белладонны, вследствие чего глаза у них сияли преданным, неестественным блеском, а сами они при этом ничего не видели. Сейчас уже не помню, каким образом я увязал тем темным декабрьским утром эти сведения с моим собственным состоянием, знаю только, что у меня в голове они совместились с мыслями о фальшивости внешней красоты и опасности преждевременного угасания и что поэтому мне было страшно продолжать свои занятия, хотя при этом я, если так можно выразиться, чувствовал себя окрыленным, воображая грядущее избавление, и уже представлял, как я, освобожденный от необходимости писать и читать, сижу в плетеном кресле посреди сада и созерцаю лишенный контуров, еле различимый, почти бесцветный мир. В таком состоянии я провел несколько дней, без какого бы то ни было улучшения, и потому решил, незадолго до Рождества, отправиться в Лондон, к чеху-окулисту, рекомендованному мне кем-то из знакомых, при этом по дороге, как бывает всегда, когда я езжу в Лондон один, меня охватило знакомое чувство, сродни глухому отчаянию. Тем декабрьским днем я смотрел на плоский ландшафт, почти без единого дерева, на гигантские коричневые поля, на железнодорожные станции, на которых я никогда бы не вышел, на стаи чаек, которые по обыкновению заняли все футбольное поле на окраине Ипсвича, на череду садоводств, на растянувшийся вдоль насыпи голый кривоствольный лес, оплетенный засохшим клематисом, на переливающиеся серебристой ртутью ватты и протоки между отмелями возле Мэннингтри, на скособоченные лодки, водонапорную башню в Колчестере, фабрику Маркони в Челмсфорде, на пустынный собачий ипподром в Ромфорде, на уродливые спины одинаковых домов, мимо которых проходит трасса, соединяющая окраины и центр, на кладбище в Мэнор-парке и высотки в Хакни, на все эти неизменные, мелькающие передо мною всякий раз, когда я направляюсь в Лондон, но оттого не ставшие родными образы, которые, несмотря на долгие годы, проведенные мною в Англии, производили на меня пугающе отталкивающее впечатление. Особенно не по себе мне становилось на последнем участке пути, когда поезд, прежде чем въехать на станцию Ливерпуль-стрит, какое-то время петляет, минуя многочисленные стрелки, стиснутый с двух сторон подступающими к самому полотну, высокими, черными от копоти и дизельного масла кирпичными стенами с бесчисленными арками, колоннами и нишами, вид которых и в то утро навеял воспоминания о каком-нибудь подземном колумбарии. Было уже почти три часа дня, когда я очутился на Харли-стрит, в одном из тех, занятых по большей части ортопедами, дерматологами, урологами, гинекологами, невропатологами, психиатрами, лорами и окулистами бледно-сиреневых домов, где я, в ожидании своей очереди, пристроился у окна мягко освещенной и довольно жаркой приемной доктора Зденека Грегора. С серого неба, нависшего над городом, падали редкие снежинки и тут же исчезали в черноте дворов. Я подумал о том, как начинается зима в горах, и вспомнил об одном заветном желании, которое у меня было в детстве, когда я мечтал, чтобы нас всех засыпало снегом, замело всю деревню и всю долину, до самого-самого верха, а потом, так представлял я себе это тогда, ранней весной снег бы сходил и мы снова оказывались на свободе. Я ждал приезда, вспоминал снег в Альпах, запорошенные окна спальни, сугробы во дворе, белые нахлобучки на телеграфных столбах и заледеневшее корыто возле колодца, и неожиданно в голове мелькнули первые строчки одного из самых любимых мною стихотворений... «And so long for snow to sweep across the low heights of London...»⁹ Я представил себе, будто ясно вижу там, в сгущающейся темноте за окном, раскинувшееся пространство города, изрезанное бесчислен-

⁹ А снег все падает на тихие верхушки Лондона... (англ.)

ными улицами и дорогами, которые, толкаясь и кружась, пересекаясь, бегут на восток и на север, огибая каменные рифы домов, что громоздятся друг на друге, забираясь все выше и выше, растягиваясь грядую, уходящей все дальше и дальше, туда, за Холлоуэй и Хайбери, и я вообразил, что будет, если сейчас пойдет снег и станет медленно, неспешно падать, пока не скроет под собою все это каменное уродство... «London a lichen mappes on mild clays and its rough circle without purpose...»¹⁰ Точно такой же круг с размытыми краями изобразил Зденек Грегор на листе бумаги, когда попытался, после проведенного обследования, наглядно показать мне расплывающиеся очертания серой зоны в моем правом глазу. Речь идет в данном случае, сказал он, о небольшом воспалении, вызванном тем, что у самой макулы, вроде как под обоями, образовался пузырь, в котором скопилась жидкость. Причины этого явления, описанного в современной научной литературе под названием центральной серозной хориоретинопатии, неизвестны, сказал Зденек Грегор. Известно только, что данное заболевание проявляется исключительно у мужчин среднего возраста, проводящих много времени за чтением и письмом. По окончании консультации мне нужно будет еще сделать для более точной локализации места воспаления флюоресцинангиографию сетчатки, то есть сделать ряд фотографий моего глаза или, точнее, если я правильно понял, того, что находится за радужной оболочкой и зрачком, внутри глазного яблока. Техник-ассистент, уже ожидавший меня в специально оборудованном для подобного рода процедур помещении, оказался молодым человеком необычайно благородной наружности с белым тюрбаном на голове – прямо пророк Магомет, мелькнула у меня дурацкая мысль. Он осторожно закатал мне рукав и ввел иглу, так что я ничего и не почувствовал, в вену чуть ниже локтевого сгиба. Впуская контрастное вещество, он предупредил, что у меня могут возникнуть легкие неприятные ощущения. Кроме того, на несколько часов я весь пожелтею. Потом мы какое-то время молча посидели, подождали, каждый на своем месте, в полумраке небольшого кабинета, тускло освещавшегося маленькой лампочкой, как в купе спальных вагонов, после чего он попросил меня подойти к столу и сесть лицом к установленной на нем конструкции, чтобы затем пристроить подбородок на полочку с выемкой, а лоб прижать к металлической пластине. И теперь, когда я пишу эти строки, я снова вижу мелкие искры, разлетавшиеся во все стороны из моих глаз при каждом нажатии затвора аппарата. Через полчаса после этого я уже сидел в баре отеля «Грейт-Истерн» на Ливерпуль-стрит в ожидании ближайшего поезда, который отвез бы меня домой. Я специально забрался в самый темный угол, поскольку действительно чувствовал себя не в своей тарелке, причем не только из-за того, что пожелтел. Уже когда я ехал сюда в такси, мне показалось, будто мы колесим по гигантскому луна-парку, настолько у меня все рябило в глазах от отражавшихся в ветровом стекле огней города, и даже теперь, в этом баре, все продолжало вертеться перед глазами – и круглые молочные светильники, и зеркала за стойкой, и пестрые батареи бутылок, как будто я кружусь на карусели. Я прислонился затылком к стене и время от времени, когда подступала тошнота, медленно делал глубокий вдох и выдох, что не мешало мне наблюдать за старателями большого города, которые сходились тут, в облюбованном ими местечке, в этот ранний вечерний час, чтобы пропустить стаканчик-другой, похожие друг на друга в своих темно-синих костюмах, рубашках в полоску и галстуках ярких цветов, и вот, когда я разглядывал их, силясь постичь загадочные повадки этих не описанных ни в одном бестиарии животных: их полукомпанейские-полуагрессивные ухватки, их манеру с громким бульканьем опустошать бокалы, их гомонящие голоса, становящиеся все более возбужденными, неожиданное бегство то одного, то другого, – вот тогда-то я и увидел прибывшего к этому уже начавшему показываться стаду одинокого человека, который был не кто иной, как потерявшийся из виду без малого двадцать лет назад, о чем я успел подумать в эту минуту, мой Аустерлиц. Он совершенно не изменился внешне, ни по осанке, ни по одежде, и даже рюкзак и тот, как всегда, был

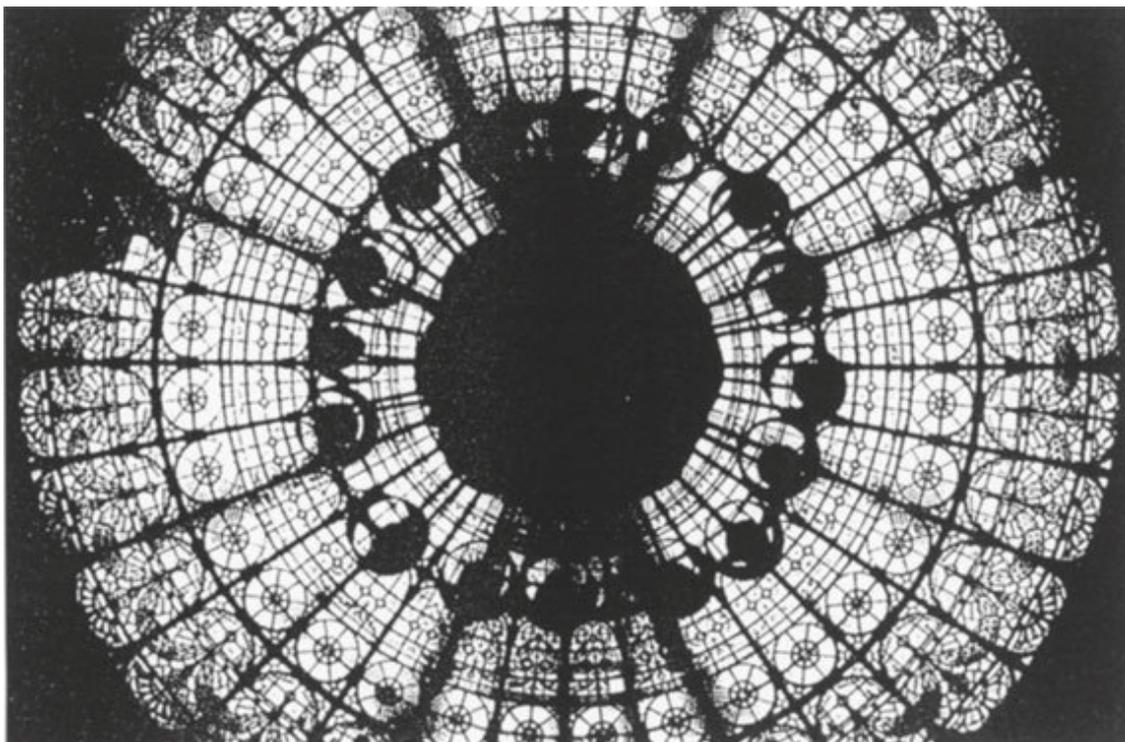
¹⁰ Лондон расстилает лишайник по мягкой известке, и его неровный круг не имеет цели (англ.).

перекинут у него через плечо. Только его светлые волнистые волосы, странно торчавшие, как и прежде, затейливым фасоном в разные стороны, несколько поблекли. И, несмотря на это, он, которого я раньше всегда считал лет на десять старше меня, показался мне теперь лет на десять моложе, чем я, то ли из-за моего тогдашнего недомогания, то ли потому, что он относился к тому типу вечных холостяков, в которых до последнего остается что-то мальчишеское. Это нечаянное возвращение Аустерлица повергло меня, насколько я помню, в необычайное удивление, отчего я довольно долго не мог прийти в себя; во всяком случае, как мне помнится, я, прежде чем подойти к нему, еще какое-то время обдумывал бросившееся мне тогда впервые сходство между ним и Людвигом Витгенштейном, заключавшееся, среди прочего, в том выражении ужаса, печатью которого были отмечены их лица. Но главной деталью, мне кажется, был рюкзак, о котором Аустерлиц впоследствии мне рассказал, что купил его перед самым поступлением в университет за десять шиллингов в каком-то магазине на Чаринг-Кроссруд, где распродавалась армейская экипировка из шведских запасов, и что этот рюкзак, по его словам, был единственной по-настоящему надежной вещью в его жизни, так вот именно этот рюкзак, как мне кажется, и навел меня на странную по сути своей мысль о своеобразном физическом родстве, связывавшем его, Аустерлица, и умершего от рака в 1956 году в Кембридже философа.

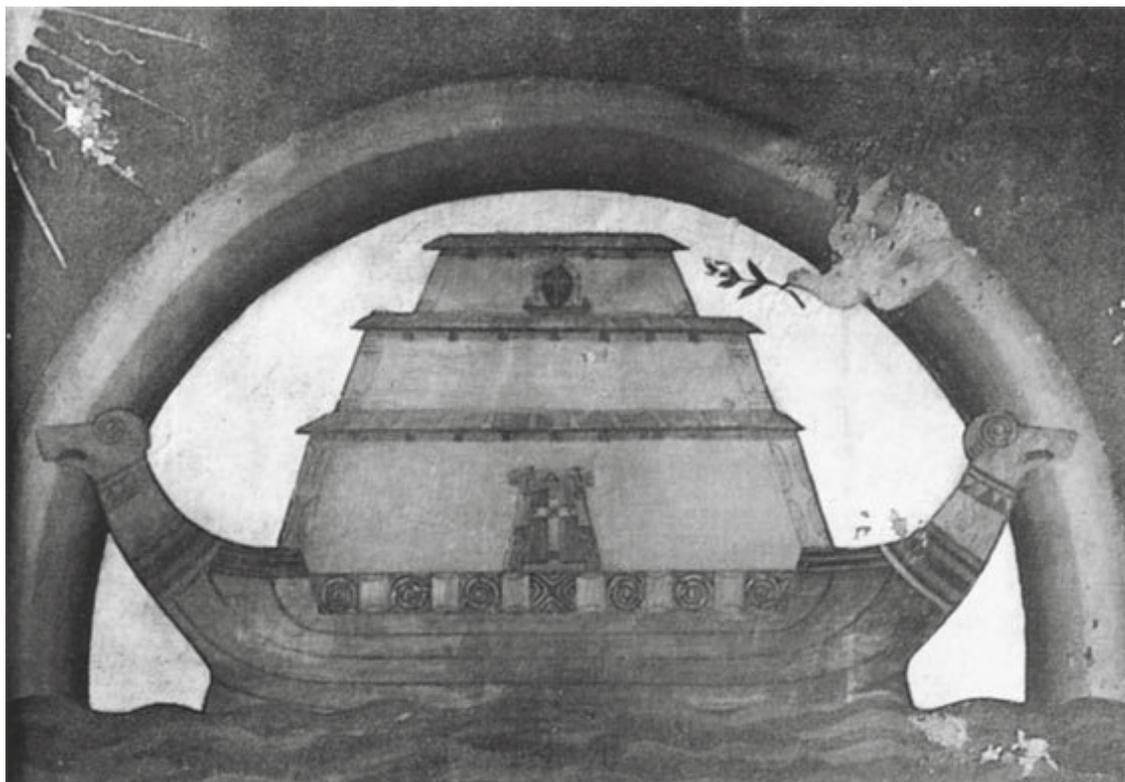


Ведь и Витгенштейн никогда не расставался со своим рюкзаком и всегда имел его при себе, в Пухберге и Оттертале, отправляясь в Норвегию, или Ирландию, или Казахстан, или

к сестрам, домой, чтобы отпраздновать Рождество на Алеегассе. Везде и повсюду был с ним его рюкзак, о котором сестра Маргарита как-то раз напишет брату, что она любит сей предмет не менее нежно, чем его самого, – он сопровождает философа во всех его путешествиях, даже через Атлантику, на пароходе «Квин Мэри», и далее от Нью-Йорка до самой Итаки. Вот почему и теперь всякий раз, когда я случайно наталкиваюсь на какую-нибудь фотографию Витгенштейна, мне чудится, будто с нее на меня смотрит Аустерлиц, или, когда я смотрю на Аустерлица, я вижу в нем несчастного мыслителя, стесненного ясностью своих логических размышлений, равно как и сумятицей своих чувств, настолько разительно сходство этих двоих людей и по стати, и по тому, как они изучают других, легко преодолевая невидимые границы, и по общему устройению жизни, в которой все как будто временно, и по стремлению, сколько возможно, обходиться малым, и по неспособности, присущей Аустерлицу в той же степени, в какой она была присуща Витгенштейну, задерживаться на каких бы то ни было околичностях. Так и в тот вечер, когда мы встретились в баре отеля «Грейт-Истерн», он, не выразив ни единым словом удивления по поводу нашего случайного свидания, состоявшегося после столь продолжительной разлуки, продолжил начатый когда-то разговор приблизительно с того же места, где он когда-то оборвался. Аустерлиц сказал, что специально пришел нынче вечером в «Грейт-Истерн», который, по его словам, в скором времени будет подвергнут капитальному ремонту, чтобы как следует все осмотреть, главным образом масонский храм, каковой на рубеже веков был встроено по настоянию дирекции железнодорожной компании в только что возведенный и обставленный со всею роскошью отель. Честно признаться, сказал он, я уже давно отставил свои архитектурные разыскания, но иногда срабатывает все-таки старая привычка, хотя я теперь не делаю рисунков и эскизов, а только с изумлением созерцаю диковинные вещи, сконструированные нами. Так было и сегодня, когда он, проходя мимо «Грейт-Истерн», поддался внезапно возникнувшей идее зайти в этот отель, где ему был оказан любезнейший прием со стороны, как выяснилось чуть позже, исполнительного директора, некоего португальца по имени Перейра, которого, сказал Аустерлиц, несколько не смутило мое, прямо скажем, несколько экзотическое желание, как не смутил его мой необычный визит как таковой. Перейра, продолжал Аустерлиц, препроводил меня по широкой лестнице на второй этаж и отворил большим ключом портал, который вел в храм, представлявший собою выложенный мраморными плитами песочного цвета и красным марокканским ониксом зал с черно-белым шашечным полом и сводчатым потолком, в центре которого располагалась единственная золотая звезда, пробивающая лучами темный свод, со всех сторон обнимающий ее. Потом Перейра провел меня по всему отелю, который уже по большей части стоял пустым: мы прошли через ресторан на триста персон под высоким стеклянным куполом, через курительный салон и бильярдную, через анфиладу комнат, обследовали все этажи, до последнего, пятого, где прежде размещались небольшие кафе, и даже спустились в двухэтажный подвал, являвшийся собою до недавних времен холодный лабиринт, использовавшийся для хранения рейнвейнского, бордо и шампанского, для изготовления выпечки, количество которой измерялось тысячами, для чистки овощей, разделки сырого красного мяса и бледной птицы.



Один только рыбный отсек, в котором хранились горы окуня, судака, камбалы, морского языка и угря, разложенных на листах черного шифера и поливаемых денно и ночью свежей проточной водой, легко можно было принять, сказал мне Перейра, за небольшое отдельное царство мертвых, и, если бы сейчас уже не было так поздно, сказал Аустерлиц, он бы с удовольствием еще раз повторил со мною эту прогулку. Особенно ему хотелось бы показать мне храм и находящееся в нем написанное золотом орнаментальное изображение покачивающегося на волнах, под радугой, трехэтажного ковчега, к которому как раз подлетел голубок с зеленой веткой в клюве.



Самое странное, сказал Аустерлиц, что именно сегодня, когда он стоял с Перейрой перед этой прекрасной картиной, он вспомнил о наших давних бельгийских встречах и подумал, что очень скоро ему для его собственной истории, в которой до недавнего времени было много неизвестного, открывшегося ему только теперь, понадобится слушатель, именно такой, каким в свое время был я в Антверпене, Льеже и Зеебрюгге. И то, что он встретил меня сейчас в баре отеля «Грейт-Истерн», в котором он до того ни разу в жизни не был, свидетельствует о том, что эта встреча, вопреки статистической вероятности, неизбежно должна была произойти по законам непостижимой и в каком-то смысле неотвратимой внутренней логики. Сказав это, Аустерлиц замолчал и некоторое время смотрел, как мне казалось, куда-то в неведомые дали. В детские и юношеские годы, так начал он свое повествование, обращая на меня свой взгляд, я не знал, кто я такой. Сегодня я, конечно, понимаю, что само звучание моего имени и тот факт, что это имя до моего пятнадцатилетнего возраста скрывалось от меня, все это должно было бы побудить меня обратиться к своему прошлому, дабы установить собственное происхождение, однако только недавно мне стало ясно, отчего некие высшие силы, превосходящие мои умственные способности и, судя по всему, управлявшие с большой осмотрительностью моим сознанием, последовательно и систематически удерживали меня от каких бы то ни было выводов, равно как и от попыток, руководствуясь этими выводами, предпринять те или иные разыскания. Нельзя сказать, что это было просто – преодолеть свой страх перед самим собой и сохранить беспристрастность, зато теперь я без особого труда могу изложить обстоятельства в более или менее четкой последовательности. Я вырос, сказал Аустерлиц, приступая к непосредственному рассказу тем вечером в баре отеля «Грейт-Истерн», в небольшом провинциальном городке Бала, в Уэльсе, в доме священника-кальвиниста, бывшего миссионера, которого звали Эмир Элиас и который был женат на робкой женщине, происходившей из английской семьи. Мне стоило всегда больших усилий вспоминать этот несчастный дом, стоявший особняком на небольшом холме, почти что за городом, и отличавшийся весьма внушительными размерами, слишком внушительными для двух человек и единственного ребенка. Многие комнаты на верхнем этаже годами стояли закрытыми. И по сей день мне снится иногда, будто

я вижу, как открывается одна из этих запертых дверей и за порогом передо мною предстает иной, приветливый и не такой чужой мир. Незапертыми комнатами, впрочем, тоже пользовались не всеми. Обстановка в этих помещениях была довольно скудная, одна кровать или сундук, и вечно задернутые шторы, которые не раздвигались даже днем, отчего здесь всегда царил дремотный полумрак, убивавший во мне всякое чувство реальности. В моей памяти не сохранилось почти ничего из ранних воспоминаний, связанных с жизнью в Бала, кроме того, что мне больно было слышать, как меня называют другим именем, и что я страшно мучился без привычных мне вещей, исчезнувших в один прекрасный день, вместо которых мне выдали другие, заставив носить эти короткие английские штаны, эти вечно съезжающие гольфы, эту сетчатую майку и тонкую рубашку мышинного серого цвета. И я прекрасно помню, как я часами лежал без сна на узенькой койке в доме священника и все пытался представить себе лица тех, с кем я расстался, как мне казалось, по собственной вине; но только когда усталость брала свое и члены цепенели, а тяжелые веки смежались в темноте, только тогда, бывало, на какое-то одно непостижимое мгновение мне являлась матушка, которая будто бы склонялась ко мне, или же отец, который с улыбкой водружал себе на голову шляпу. Тем тягостнее было пробуждение после таких блаженных встреч и тем труднее было погружение в новый день, не суливший мне ничего, кроме необходимости, как и во все другие дни, смиряться с мыслью, что я не дома, а где-то далеко-далеко, будто в плену. Только недавно я осознал, как угнетало меня то, что за все время, проведенное мною в доме четы Элиас, я не видел у них ни одного открытого окна, и, наверное, именно поэтому, когда я, уже годы спустя, однажды летним днем, в одну из своих поездок, проходил мимо какого-то дома, в котором все окна стояли нараспашку, меня охватило совершенно непостижимое чувство свободы, словно все мое существо вырвалось наружу. Размышляя над этим ощущением, я лишь недавно вспомнил, что одно из двух окон в моей спальне было изнутри заложено кирпичами, хотя внешние ставни оставались нетронутыми, – обстоятельство, на которое я обратил внимание не сразу, поскольку человек ведь никогда не бывает одновременно внутри и снаружи, а лишь в возрасте тринадцати-четырнадцати лет, хотя оно явно тревожило меня во все мои детские годы, проведенные в Бала. Я страшно мерз в доме священника, продолжал свой рассказ Аустерлиц, причем не только зимой, когда топили лишь в кухне и каменный пол при входе нередко покрывался изморозью, но и во все остальные месяцы, и осенью, и весной, и неизменно дождливым летом. Царивший в доме холод дополнялся царившим в нем молчанием. Жена священника целыми днями занималась хозяйством, стирала пыль, драила пол, кипятила белье, начищала медные дверные ручки или готовила скромную еду, которую мы затем безмолвно поглощали. Порою она совершала обходы, смотрела, чтобы все находилось на определенных ею, неизменных местах. Однажды я обнаружил ее в одной из тех полупустых комнат, что находились на втором этаже, она сидела на стуле, глаза заплаканы, в руках измятый носовой платок. Увидев меня на пороге, она поднялась, сказала, что ничего не случилось, что это просто насморк, простуда, и, выходя из комнаты, легонько погладила меня по голове, и было это, насколько я помню, в первый и в последний раз. Священник в это время, по заведенному им раз и навсегда порядку, находился у себя в кабинете, окна которого выходили на самый темный угол сада, и продумывал проповедь, каковую ему предстояло держать в ближайшее воскресенье. Он никогда не записывал свои проповеди, а складывал их в голове, терзая себя этим необыкновенно, по меньшей мере четыре дня подряд. В каждый из этих дней, к вечеру, он выходил из своей комнаты, чтобы на следующее утро исчезнуть там снова. В воскресенье, когда он предстал перед собравшейся в молельном доме паствой и в течение целого часа, демонстрируя поистине сокрушительную силу слова, которое как будто и по сей день, сказал Аустерлиц, звучит у меня в ушах, повествовал о Страшном суде, через который предстоит пройти каждому, расписывал в красках чистилище, муки проклятия, живописал, используя проникновеннейшие образы, красоты звездного неба и радость вхождения праведников в мир вечного блаженства, – в такие

минуты он совершенно преображался и становился совсем другим. Всякий раз ему удавалось, будто бы безо всякого усилия, словно он только сейчас придумал все эти жутковатые подробности, посеять в душах слушающих такое смятение, что многие из них, раздавленные чувством собственного ничтожества, выходили со службы с посеревшими лицами. Сам же священник, напротив, пребывал остаток дня в более или менее благодушном состоянии духа. За обедом, каковой неизменно начинался с рисового супа, он отпускал какие-нибудь полушутливые замечания назидательного свойства в адрес своей изнуренной готовкой супруги, справлялся о моем самочувствии и пытался хоть немного меня растормошить, добиваясь, чтобы я сказал что-нибудь еще, кроме обычных односложных фраз. Завершалась трапеза традиционным пудингом, любимым блюдом священника, за поеданием которого он обыкновенно умолкал. По окончании обеда он ложился на час, устраиваясь на канапе, или же выходил в сад, усаживался под яблоней и смотрел в долину, довольный благополучным завершением трудовой недели, как Саваоф после Сотворения мира. Вечером, перед тем как удалиться на молитву, он доставал из своего бюро жестяную шкатулку, в которой у него хранился издававшийся церковью кальвинистов-методистов календарь, серую книжицу с истончившимися страницами, где были отмечены все воскресные и праздничные дни с 1928 по 1948 год и куда он каждую неделю, из месяца в месяц, заносил свои записи, для чего извлекал заложенный в конце календаря тонкий чернильный карандаш, который он как следует слюнил, чтобы затем начать писать, медленно и аккуратно, как прилежный ученик, выводящий буквы под надзором строгого учителя, и отметить место проведения проповеди, а также тот фрагмент из Библии, на котором он построил свою речь; так, например, возле даты 20 июля 1939 года стоит помета: «At the Tabernacle, Llandrillo – Psalmes CXXVII/4, „He telleth the number of the stars and calleth them all by their names“»¹¹, или вот еще, 3 августа 1941 года: «Chapel Uchaf, Gilboa – Zephaniah III/6, „I have cut off the nations: their towers are desolate; I made their streets waste, that none passeth by“»¹², или, скажем, 21 мая 1944 года: «Chapel Bethesda, Corwen – Isaiah VII/18 „O that thou hadst hearkened to my commandments! Then had thy peace been as a river and thy righteousness as the waves of the sea!“»¹³ Последняя запись в этой книжечке, которая принадлежит к числу немногочисленных предметов, доставшихся мне после смерти священника, и которую я не раз за последнее время пролистал от начала и до конца, сказал Аустерлиц, была сделана на отдельном, вложенном листочке. Она датирована 7 марта 1952 года и выглядит так: «Bala Chapel – Psalmes CII.6. „I am like a pelican in the wilderness. I am like an owl in the desert“»¹⁴. Конечно, все эти воскресные проповеди, из которых я прослушал, наверное, не меньше пятисот, были слишком сложны для моей детской головы, но вместе с тем, однако, хотя значение отдельных слов и предложений оставалось для меня долгое время недоступным, я все же понимал, независимо от того, говорил ли Элиас по-английски или по-валлийски, что речь идет о греховности человека и его грядущем наказании, об огне и прахе и неотвратимом конце света. Надо сказать при этом, добавил Аустерлиц, что не библейские образы разрушения связываются в моем воспоминании с кальвинистской эсхатологией, а совсем другое, то, что я увидел собственными глазами, когда мы с Элиасом ездили по округе. Многие из его более молодых коллег были призваны в самом начале войны в армию, вот почему Элиас вынужден был каждое второе воскресенье читать проповедь в новом месте, посещая и весьма отдаленные приходы. Поначалу мы совершали наши поездки в двухместной повозке, которую тянул почти белоснежный пони, при этом, когда мы ехали туда, Элиас по обыкновению пребывал в наимрачнейшем расположении духа.

¹¹ Молельня в Лландрилло – Псалмы, CXXVII/4, «Он говорит число звезд и называет каждую своим именем» (англ.).

¹² Часовня Ухаф, Гильбоа – Софония III/6, «Я разделил народы: их башни разрушены. Я сделал их улицы пустынными, так что никто по ним не ходит» (англ.).

¹³ Часовня Бетезда, Коруэн – Исайя VII/18, «О ты, который внимал моим заветам! Да будет твой мир, как река, и праведность твоя, как волны моря» (англ.).

¹⁴ Часовня Бала – Псалмы, CII/6, «Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал как филин на развалинах» (англ.).

На обратном же пути всегда наступало просветление, как это бывало дома, за обедом; случилось даже, что он принимался что-то напевать себе под нос и по временам слегка подстегивал лошадку, стараясь попасть ей поводьями между ушей. Эти светлые и темные стороны проповедника находили свое соответствие в гористом ландшафте вокруг нас. Я до сих пор помню, сказал Аустерлиц, как однажды мы ехали по ущелью Танат, карабкались наверх, справа и слева почти голые склоны, кое-где лишь корявые деревья, папоротник и пожухшая, цвета ржавчины, трава, а на последнем участке дороги, перед самым перевалом, пошли одни сплошные серые камни и ползучий туман, так что мне со страху почудилось, будто мы приближаемся к самому краю света. А бывало и совсем по-другому, как, например, в тот раз, когда мы поднялись на перевал Пеннант и прямо перед нами, в плотной стене черных туч, закрывавших собою весь небосклон на западной стороне, вдруг открылось небольшое окошко, сквозь которое проникли лучи солнца и протянулись тонкой дорожкой далеко-далеко, до самого дна открывшегося нам бесконечной бездной ущелья. Там, где только что зияла непроглядная тьма, теперь смотрело на нас в окружении черных теней небольшое селение, с садами, лугами, полями, сверкающими зеленью, словно то был какой-нибудь остров блаженных, и, пока мы спускались вниз, шагая рядом с повозкой, все вокруг становилось светлее и светлее, склоны гор проступили из мрака, нежная трава заиграла под ветром, засеребрились пастбища внизу, у ручья, и вскоре остались уже позади голые вершины и мы ступили под сень деревьев, вслушиваясь в легкое шуршание дубов и кленов, и рябины, радовавшей глаз своими красными ягодами. Однажды, когда мне было лет девять, я провел некоторое время вместе с Элиасом на юге Уэльса, в каком-то месте, где склоны гор по обе стороны дороги были все перекошены и от лесов почти ничего не осталось. Как называлось это место, куда мы добрались уже под ночь, сейчас не помню. Вокруг него тянулись угольные отвалы, расплзавшиеся в разные стороны и кое-где заходившие даже в поселок. Нас разместили в доме церковного старосты, откуда можно было видеть надшахтный копер с гигантским колесом, которое вращалось в сгущавшейся темноте то в одну, то в другую сторону, а чуть дальше, в глубине долины, целые снопы искристого огня, что вырывались с интервалом в три-четыре минуты из плавильных печей металлургического завода и устремлялись к небу. Я уже лежал в постели, а Элиас все сидел на табуретке у окна и молча смотрел в ночь. Мне думается, что вид этой долины, то полыхающей в огне, то исчезающей во мраке, вдохновил его на ту проповедь, которую он держал на следующее утро, проповедь о гневе Божиим, о войне и произведенных ею опустошительных разрушениях, проповедь, в которой, как сказал ему на прощание церковный староста, он превзошел самое себя. И если прихожане, слушая его, буквально цепенели от ужаса, то мне его слова о карающей высшей силе надолго запомнились не столько потому, что он вкладывал в них, словно в заклинание, весь пыл своей души, сколько потому, что они словно бы нашли свое подтверждение в тот же день, когда мы прибыли в городок на окраине долины, где Элиас должен был служить службу, и узнали, что в здешний кинотеатр сегодня, среди бела дня, попала бомба. Мы поспешили в центр, развалины еще дымились. Люди стояли небольшими группами, некоторые от ужаса прижав руку ко рту. Пожарная машина проехала прямо по клумбе, на зеленом газоне лежали трупы тех, кто, как я прекрасно знал и без подсказки Элиаса, в нарушение священной заповеди забыл день субботный. Постепенно в моей голове сложилось нечто вроде ветхозаветной мифологии возмездия, центральным мотивом которой, надо сказать, для меня всегда была гибель общины Лланутина в водах искусственного озера Вирнуи. Насколько я помню, это произошло в один из тех дней, когда мы возвращались домой из очередной поездки и проезжали через Абертридур или Понт-Ллогел. Элиас остановил повозку на берегу озера и повел меня на середину дамбы, где он и рассказал мне о своем родном доме, который стоит там, под водой, на глубине, быть может, ста футов, причем там стоит не только дом его отца, но еще по меньшей мере сорок других домов и дворов, и церковь Святого Иоанна Иерусалимского, и три часовни, и три пивные, и все это, вместе взятое, все-все-все, осенью 1888 года, когда построили дамбу,

оказалось затопленным. Этот Лланутин, сказал Аустерлиц, ссылаясь на Элиаса, был знаменит в годы, предшествовавшие затоплению, главным образом тем, что летом, в полнолуние, здесь устраивались на главной площади деревни футбольные матчи, которые длились, бывало, ночи напролет и в которых принимало участие до сотни игроков всех возрастов, собиравшихся из окрестных деревень. Эта история о футбольных матчах в Лланутине долгое время занимала мое воображение, сказал Аустерлиц, главным образом, скорее всего потому, что Элиас ни до того, ни после никогда ничего не рассказывал о своей собственной жизни. В тот единственный и неповторимый момент, когда он, стоя на дамбе водохранилища Вирнуи, умышленно или случайно приоткрыл мне то, что скрывалось в его пасторской груди, я проникся к нему таким глубоким чувством, что он сам представился мне единственным праведником, сумевшим спастись от потопа, погубившего Лланутин, в то время как все остальные – его родители, сестры и братья, близкие и дальние родственники, соседи и прочие односельчане – скрылись под водой и, быть может, все еще сидят по своим домам или ходят по улице, только вот говорить не могут и глаза у них широко раскрыты. Это представление о том, что обитатели Лланутина, возможно, продолжают вести подводное существование, возникло в моей голове отчасти и под впечатлением от альбома, который Элиас по возвращении домой тем вечером впервые показал мне и в котором хранилось несколько снимков его родного затонувшего села. Поскольку в доме священника не было ни единого изображения, я не мог оторваться от этих немногочисленных фотографий, которые впоследствии достались мне вместе с кальвинистским календарем, и все смотрел на них, смотрел, разглядывал до тех пор, пока изображенные тут люди – и кузнец в кожаном фартуке, и почтарь, приходившийся Элиасу отцом, и пастух, что гонит овец по главной улице деревни, но прежде всего девочка в саду, в плетеном кресле, с маленькой собачкой на коленях, – пока все они не стали мне родными, словно я жил вместе с ними, на дне озера.



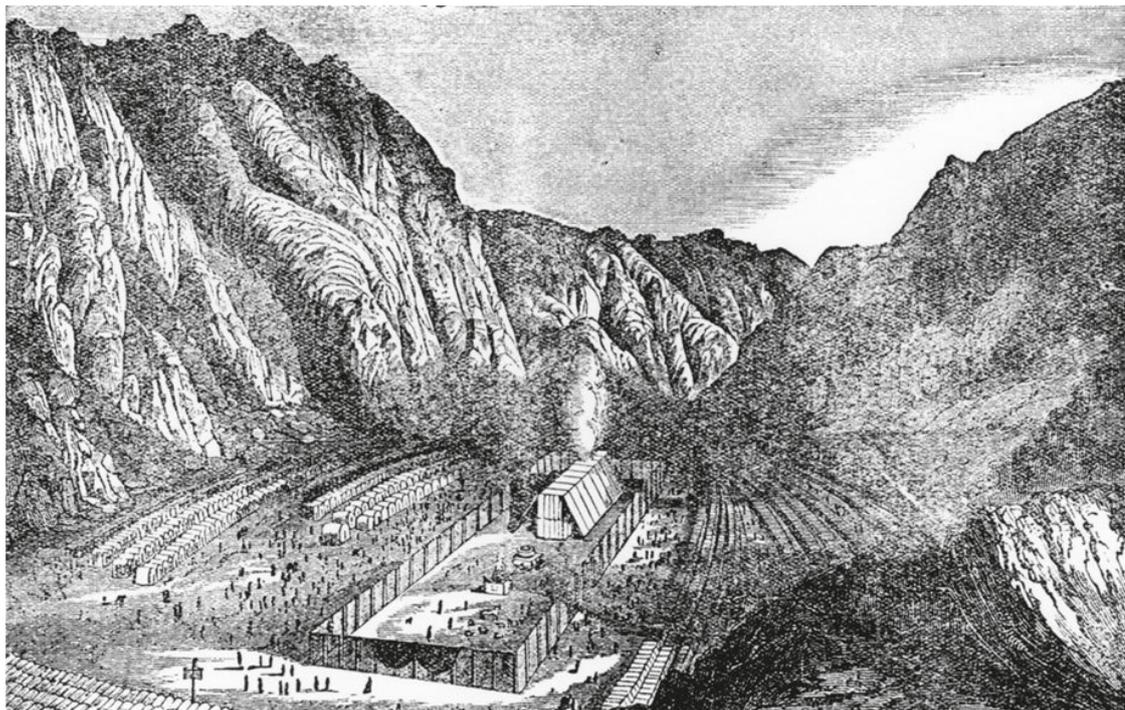


По ночам, когда я лежал без сна, не в силах заснуть, мне часто казалось, будто и я скрылся в недрах темной воды и что теперь мне, как всем этим несчастным душам, придется ходить с широко раскрытыми глазами, чтобы разглядеть там, над моей головой, тусклый свет или искаженное рябью отражение каменной башни, стоящей в нагоняющем страх одиночестве на лесистом берегу. Временами мне даже чудилось, словно я встречал то или иное лицо с фотографии здесь, у нас в Бала, или там, в полях, особенно в жаркие летние дни, около полудня, когда вокруг никого и воздух слегка дрожит. Элиас запрещал мне говорить о подобного рода вещах. Зато я с удовольствием проводил все свободное время у Эвана, сапожника, у которого была своя мастерская неподалеку от дома священника и о котором говорили, будто бы он ясновидящий. От Эвана я мигом научился валлийскому наречию, потому что его истории входили в меня лучше, чем бесконечные псалмы и библейские изречения, которые мне приходилось заучивать наизусть в воскресной школе. В отличие от Элиаса, который непременно увязывал болезни и смерть с испытанием и возмездием за грехи, Эван рассказывал о тех умерших, которым выпало безвременье, о тех, которые стали жертвой обмана и потому стремятся снова вернуться в жизнь, чтобы восстановить справедливость. Кто наделен способностью их

видеть, тот частенько встречается с ними. На первый взгляд, по словам Эвана, они выглядят как совершенно обычные люди, и только если присмотреться, можно заметить, что лица у них немного стертые или по краям размытые. При этом они чуточку ниже, чем были когда-то, ведь в процессе умирания, говорил Эван, человек укорачивается, точно так же, как садится льняная ткань, когда ее в первый раз стирают. В основном мертвые ходят в одиночку, но бывает, что иногда они перемещаются целыми небольшими эскадронами; кому-то попадались такие, что были облачены в синие мундиры или серые плащи, и люди видели, как они, двигаясь между разделяющими поля оградами, которые были лишь ненамного выше их самих, маршируют под тихую барабанную дробь в сторону холма за селом. Эван рассказывал, что его деду однажды, когда он шел по дороге из Фронгастелла в Пирсай, пришлось даже посторониться, чтобы пропустить такой отряд призраков, который обогнал его и который, как он видел, весь состоял из одних только малорослых существ. Поспешая, они быстро прошагали мимо, все как один слегка склонившись вперед и переговариваясь своими тоненькими голосами. На стене у Эвана, сказал Аустерлиц, висел на крючке черный полупрозрачный плат, который его дед стянул с носилка, когда эти мелкие существа, закутанные с ног до головы в накидки, проносили носилки мимо него, и, кажется, именно Эван сказал мне когда-то, вспомнил Аустерлиц, что от другого мира нас отделяет не больше, чем такой шелковый платок. И действительно, во все годы, проведенные мною в доме священника в Бала, я не мог избавиться от чувства, будто тут, совсем рядом, присутствует нечто такое, что явственно наличествует, но остается сокрытым и мне недоступным. Иногда мне снился какой-нибудь сон, в котором я как будто различал черты иной реальности, иногда же мне чудилось, будто рядом со мною идет мой невидимый брат-близнец, так сказать противоположность тени. И в библейских историях, которые я с шестилетнего возраста слушал в воскресной школе, мне угадывался некий особый смысл, имевший отношение только лично ко мне и совершенно отличавшийся от того смысла, который складывался, когда я читал священный текст, водя пальцем по строчкам. Я как сейчас вижу, сказал Аустерлиц, вот я сижу и бормочу себе под нос, повторяя, словно заклинание, историю о Моисее, карабкаюсь по буквам снова и снова, вглядываясь в страницы напечатанной крупным шрифтом детской Библии, подаренной мне мисс Перри в тот день, когда я впервые сумел сказать без единой запинки и с выражением заданную наизусть главу о смешении языков. Мне и сейчас достаточно взять в руки это издание, перелистнуть несколько страниц, чтобы тут же вспомнить, как я боялся того места, где рассказывалось, как дочь племени Левиина сделала из тростника корзину, положила в нее ребенка, осмолила корзину смолой и пустила плавать в камышах у самого берега – «уп уг hesg ar fin уг афон»¹⁵ так, помнится, звучала последняя строчка. А вот в истории с Моисеем, сказал Аустерлиц, больше всего меня привлекал фрагмент, в котором говорится о сынах Израилевых, о том, как они бредут по жуткой пустыне, много-много дней подряд, а вокруг, сколько хватает глаз, ничего, только песок да небо. Я пытался представить себе облачный столп, который указывал путь народу-страннику, как загадочно назывались эти несчастные люди, и с головою уходил в разглядывание картинки, занимавшей целый разворот, все изучал изображенную на ней Синайскую пустыню в окружении наступающих друг на друга безлесых гор на заштрихованном сером фоне, который я иногда принимал за море, а иногда за воздух, притом что все это, вместе взятое, как две капли воды было похоже на местность, в которой я вырос. Я и в самом деле, сказал Аустерлиц однажды, когда мы встретились в другой раз и он раскрыл передо мною ту валлийскую детскую Библию, чувствовал свою сопричастность этим крошечным фигуркам, населявшим лагерь. Каждый квадратный дюйм этой картинке, заключавшей в себе что-то родное и потому даже пугающее, был обследован мною со всею тщательностью. Я был убежден, что более светлая поверхность крутого склона по правую руку обозначает каменоломни, а извивающиеся линии рядом обозначают железную

¹⁵ В камыши у берега реки (*валлийск.*).

дорогу. Больше всего, однако, меня занимало огражденное пространство посередине и похожее на палатку сооружение в дальнем конце, над которым поднимается белое облако дыма. Трудно сказать, что происходило во мне тогдашнем, знаю только, что этот лагерь израильтян в пустыне среди гор был мне значительно ближе, чем вся моя жизнь в Бала, которую я с каждым днем понимал все меньше и меньше, так, по крайней мере, кажется мне сейчас, добавил Аустерлиц. Тем вечером в баре отеля «Грейт-Истерн» он рассказал еще о том, что в доме священника не было ни радио, ни газет. И я не помню, сказал он, чтобы Элиас и его супруга Гвендолин хотя бы раз упомянули в разговоре боевые действия на европейском континенте. Как выглядит мир за пределами Уэльса, я не представлял. Только к концу войны ситуация постепенно начала меняться. Повсеместные празднества по случаю победы, затронувшие даже Бала, жители которой дружно веселились и танцевали на украшенных разноцветными флажками улицах, – эти празднества ознаменовали собою начало новой эпохи. Лично для меня она началась с того, что я, нарушив запрет, первый раз побывал в кино и с тех пор каждое воскресное утро проводил в камерке кинотехника Овена, одного из троих сыновей ясновидца Эвана, и смотрел оттуда так называемую живую кинохронику со звуком. Приблизительно в это же время Гвендолин стала постепенно сдавать, сначала еле заметно, а потом все более и более явно. Она, которая всю жизнь так истово следила за порядком, совершенно перестала заниматься домом, а потом и собой. Теперь она, бывало, приходила в кухню и попросту стояла в полной растерянности, не зная, за что взяться, а когда Элиас сам исхитрялся кое-как приготовить какую-нибудь еду, она почти ничего не брала в рот. Скорее всего, именно ввиду этих обстоятельств меня, в возрасте двенадцати лет, отправили осенью 1946 года в частную школу неподалеку от Озуэстри. Как большинство подобного рода учебных заведений, Стоуэр-Грэндж был наименее подходящим местом для подростка. Директор, некий Пенрайт-Смит, блуждавший в своей неизменной мантии дни и ночи напролет по школе, был человеком бесконечно рассеянным и будто не от мира сего, хотя, впрочем, и весь остальной педагогический состав был укомплектован в эти первые послевоенные годы исключительно одними только чудаками и оригиналами, которым по большей части либо уже давно перевалило за шестьдесят, либо давно пора было лечиться. Наша школьная жизнь текла более или менее сама по себе, причем не столько благодаря трудившимся в Стоуэр-Грэндж педагогам, сколько вопреки им.



Порядок определялся не общепринятой этикой, а нравами и обычаями, выработанными не одним поколением учащихся, причем сами эти нравы и обычаи несли в себе ярко выраженные восточные черты. Здесь были самые разные формы крупных тираний и мелких деспотий, принудительного служения, порабощения, личной зависимости, оказания милостей и проявления немилости, почитания героев, остракизма, наказания и помилования – богатый репертуар средств, прибегая к которым воспитанники, безо всякого вмешательства сверху, не только регулировали отношения между собой, но и управляли всем учебным заведением, не исключая учителей. Даже когда Пенрайт-Смит, отличавшийся поразительным добродушием, вынужден был за ту или иную провинность, о которой ему доложили, кого-нибудь из нас сечь у себя в директорском кабинете, довольно скоро возникало ощущение, будто жертва наказания лишь на короткое время уступила исполнителю принадлежащее ей неотъемлемое право осуществлять карательные мероприятия. Временами, особенно по выходным, казалось, будто все учителя куда-то удалились, а вверенные их попечительству воспитанники оказались предоставленными самим себе. Брошенные без присмотра, одни из нас гуляли, где им заблагорассудится, другие посвящали себя интригам, направленным на укрепление и расширение своей власти, третьи отправлялись в обставленную колченогими стульями лабораторию, помещавшуюся в конце темного подвального коридора, который по непонятной причине назывался Красным Морем, и там, на старенькой газовой плите, источавшей сладковатый запах, делали гренки или некое подобие омлета из порошка цвета серы, значительные запасы которого хранились в одном из стальных шкафов вместе с прочими веществами, использовавшимися на уроках химии. Конечно, при таких порядках, царивших в Стоуэр-Грэндж, имелось немало тех, для кого пребывание в школе стало сплошным кошмаром. Помню, например, одного мальчика, сказал Аустерлиц, по имени Робинзон, который, видимо, был настолько не приспособлен к суровой школьной жизни со всеми ее странностями, что, несмотря на свой малый возраст – ему было лет девять-десять, – неоднократно пытался бежать, пользуясь одним и тем же способом. Он спускался ночью по водосточной трубе и устремлялся в поля, а на другое утро его, облаченного в клетчатый халат, который неизменно был на нем в каждый побег, приводил назад полицейский и передавал лично в руки директору, как какого-нибудь закоренелого преступника. В отличие от несчастного Робинзона мне, сказал Аустерлиц, проведенные в Стоуэр-Грэндж годы не казались тюремным заключением, а воспринимались как освобождение. Большинство моих однокашников, даже те, кто мучил и терзал других, считали дни до того момента, когда они снова окажутся дома, я же предпочел бы и вовсе никогда не возвращаться в Бала. С самой первой недели моего пребывания тут я понял, что эта школа, при всех ее мерзостях, является для меня единственным выходом, вот почему я постарался сделать все, чтобы освоить этот странный сумбурный набор неписаных правил и приспособиться к беспредельному, бесчинному, почти карнавальному беззаконию. Существенную роль в этом смысле сыграло то обстоятельство, что я довольно скоро сумел отличиться в регби, поскольку я, вероятно, из-за постоянно терзавшей меня тупой боли, которую, впрочем, я тогда не осознавал, будто лишен был чувствительности и мог на полном ходу протаранить головой сомкнутые ряды противника, чего не в состоянии был повторить ни один из моих соучеников. Благодаря бесстрашию, которое я проявлял во время этих битв, связанных в моих воспоминаниях с холодным зимним небом или проливным дождем, довольно скоро я оказался на особом положении, которое обычно добывалось совсем иными средствами и доставалось тем, кто набирал себе вассалов из числа более слабых мальчиков. Другой, не менее важной причиной того, что я вполне успешно справлялся со школьной жизнью, была моя тяга к учебе и чтению, каковые я, в отличие от других, никогда не воспринимал как тяжкий груз. Наоборот, проведя столько лет в заточении и не зная ничего другого, кроме валлийской Библии и гомилетики, я видел теперь за каждой перевернутой

страницей дверь, открывавшую, как мне казалось, путь в другой мир. Я перечитал все, что имелось в нашей школьной библиотеке, отличавшейся довольно произвольным составом, и то, что мне давали учителя: книги по географии, истории, описания путешествий, романы, биографии, и засиживался до поздней ночи за справочниками и атласами. Постепенно в моей голове сложилось некое идеальное пространство, в котором слились в единую панораму арабская пустыня, царство ацтеков, Антарктика, снежные Альпы, Северо-Западный проход, река Конго и полуостров Крым, образовав отдельную страну, населенную соответствующими персонажами. Поскольку я в любой момент мог укрыться в этом мире, независимо от того, находился ли я на уроке латыни или на службе в церкви или был предоставлен самому себе, когда наступали бесконечные тягучие выходные, я не знал того состояния подавленности, от которого страдали многие из тех, кто обучался в Стоуэр-Грэндж. Мои мучения начинались только на каникулах, на время которых я вынужден был возвращаться домой. Уже в самый первый раз, когда я приехал в Бала на День Всех Святых, я не мог отделаться от чувства, будто надо мною снова зажглась та несчастливая звезда, под которой мне суждено было родиться и которая определяла, как мне казалось, всю мою предшествовавшую жизнь. Состояние Гвендолин за два месяца моего отсутствия заметно ухудшилось. Теперь она целыми днями лежала в постели и глядела в потолок. Элиас заходил к ней ненадолго каждое утро и каждый вечер, но за все время, пока он находился в ее комнате, ни он, ни Гвендолин не произносили ни слова. Когда я сейчас думаю об этом, сказал Аустерлиц, мне почему-то представляется, что все дело было в холоде их сердец, который медленно свел обоих в могилу. Я не знаю, от какой болезни умерла Гвендолин, и полагаю, что она сама, наверное, не знала этого. Во всяком случае, она не могла ей противопоставить ничего, кроме странной причуды, выражавшейся в том, что она по нескольку раз на день, а то и ночью пудрилась дешевым тальком из большой, напоминавшей солонку пузатой емкости, которая стояла у нее на столике подле кровати. Гвендолин пускала на каждую процедуру такое количество этой мелкой, пылеобразной, жирноватой субстанции, что весь линолеум возле ее ложа, а скоро и вся комната, равно как и коридор второго этажа, покрылись белым налетом, который от влажности к тому же сделался липким. Эта самопроизвольная побелка дома священника вспомнилась мне совсем недавно, сказал Аустерлиц, когда я прочел у какого-то русского писателя, описывающего свое детство и юность, о похожей пудромании, которая была у его бабушки, дамы весьма примечательной, ибо она, несмотря на то что большую часть времени проводила на канаве, пробавляясь исключительно жевательными пастилками и миндальным молоком, обладала, судя по всему, железной конституцией, о чем свидетельствует тот факт, что она всегда спала с распахнутыми настежь окнами, а однажды зимою, когда на дворе разгулялась настоящая буря, проснулась под толстым слоем снега, что никоим образом не сказалось на ее здоровье. В доме священника, впрочем, все было совсем по-другому. Окна в комнате больной всегда стояли закрытыми, и белая пудра, распространившаяся повсюду и лежавшая толстым покровом, на котором образовались уже настоящие тропинки, менее всего походила на сверкающий снег. Скорее она напоминала эктоплазму, о которой мне когда-то рассказывал Эван, то вещество, которое выходило изо рта ясновидящих в виде пузырей, падавших затем на землю, где они тут же высыхали и рассыпались в пыль. Нет, то, что заполняло дом священника, не было свежим снегом; то, что его заполняло, было чем-то нехорошим, и я не знал, откуда оно пришло. Лишь много позже, сказал Аустерлиц, я натолкнулся в какой-то книге на совершенно мне непонятное, но, как мне показалось, необычайно точное обозначение того, что присутствовало в доме священника, – «арсенический ужас». Стояли жуткие морозы, которых тут никогда не случалось на памяти людской, когда я во второй раз приехал из Озуэстри домой и обнаружил Гвендолин уже при смерти. В камине тлел слабый огонь. Желтоватый дым, шедший от прогоревшего угля, не рассеивался, а смешивался с заполнившим весь дом запахом карболки. Часами я стоял у окна, созерцая чудесные ледяные отроги, высоту в два-три дюйма,

образовавшиеся на внешней стороне оконного переплета от стекавшей по стеклу воды. По временам из недр заснеженного пространства возникали отдельные фигуры. Закутанные в платки и пледы, с зонтиками в руках, которыми они спасались от летящих в лицо снежинок, путники медленно взбирались на холм. Потом я слышал, как они топают при входе, обивая сапог налипший снег, и поднимаются по лестнице в сопровождении соседской дочки, которая теперь вела хозяйство у священника. Помявшись на пороге, они, будто придавленные чем-то, понуро вступали в комнату и расставляли на комодке свои приношения – банку маринованной красной капусты, говяжьи консервы и вино из ревеня. Гвендолин на гостей уже никак не реагировала, а те, в свою очередь, боялись на нее смотреть. Они подходили к окну, стояли какое-то время рядом со мной, глядели во двор и тихонько покашливали. Когда они удалялись, в доме снова воцарялась тишина, прерываемая лишь изредка легкими вздохами, которые я слышал у себя за спиной и между которыми, как мне казалось, проходила целая вечность. В Рождество Гвендолин с невероятным усилием кое-как все-таки села. Элиас поднес ей чашку подслащенного чая, но она только слегка пригубила, а потом сказала, тихо-тихо, так что едва можно было различить: «What was it that so darkened our world?»¹⁶, на что Элиас ей ответил: «I don't know, dear, I don't know»¹⁷. Гвендолин продержалась в своем сумеречном состоянии до самого Нового года, а на Богоявление подошла к последней черте. Снаружи крепчали морозы, а вместе с ними постепенно гасли звуки. Во всей округе, как я узнал позднее, жизнь замерла той зимою. Даже озеро Бала, которое я в самом начале, когда приехал в Уэльс, принял за Мировой океан, покрылось толстым слоем льда. Я думал о красноперках и угрях, обитавших в нем, и птицах, которые, по рассказам наших визитеров, замерзали прямо на ветках и падали на землю. За все это время не было ни одного по-настоящему светлого дня, и вдруг, словно на прощание, где-то далеко-далеко, неожиданно проступило солнце из туманной синевы. В этот самый миг умирающая открыла глаза и устремила неотрывный взгляд на слабый свет, проникавший через окно. Только когда стемнело, она смежила веки, а вскоре после этого ее дыхание стало прерывистым, и с каждым вздохом у нее из груди вырывался свистящий хрип. Всю ночь мы со священником провели подле нее. На рассвете хрип прекратился. Гвендолин шевельнулась, немного выгнула спину и затихла. В этом движении было что-то такое от легкой судороги, напомнившей мне то ощущение, которое я испытал, когда однажды нашел в поле раненого зайца и взял его на руки, а у него со страху остановилось сердце. От этого последнего предсмертного усилия тело Гвендолин как будто сразу же уменьшилось, и я невольно вспомнил о том, что рассказывал мне Эван. Я смотрел на ее запавшие глаза и наполовину обнажившийся ряд неровных нижних зубов, выглядывавших из-под натянувшейся тонкой губы, а в это время на крышах Бала, впервые за все последние бесконечные темные дни, играло утреннее солнце. Как прошел тот день, я уже точно не помню, сказал Аустерлиц. Думаю, что от усталости я, наверное, свалился в постель и забылся глубоким, долгим сном. Когда я проснулся, Гвендолин уже лежала в гробу, установленном в большой комнате на четырех стульях красного дерева. На Гвендолин было надето ее подвенечное платье, которое хранилось все эти годы в сундуке, и белые перчатки с маленькими перламутровыми пуговичками, которые я до того ни разу не видел и глядя на которые я первый раз за все то время, что провел в доме священника, расплакался. Элиас сидел рядом с гробом, погруженный в бдение, а во дворе, в пустом сарае, скрипевшем от мороза, молодой священник, прибывший из Коруэна на маленьком пони, репетировал поминальную проповедь, которую ему предстояло держать в день похорон. Элиас так и не смог пережить смерть своей супруги. Слово «скорбь» не подходит к тому состоянию, в которое он впал с тех пор, как она слегла, сказал Аустерлиц. В свои тринадцать лет я вряд ли понимал, что с ним происходит, но сейчас я вижу, что все дело заключалось в

¹⁶ Отчего так затемняется наш мир? (англ.)

¹⁷ Не знаю, дорогая, не знаю (англ.)

скопившемся в нем горе, которое разрушило его веру именно тогда, когда он в ней нуждался более всего. Приехав летом на каникулы, я узнал, что он совсем перестал справляться со своими обязанностями священника. Только один-единственный раз он еще нашел в себе силы взойти на кафедру. Он раскрыл Библию и прочитал дрожащим голосом, как будто только для себя, строку из Плача пророка Иеремии: «He has made me dwell in darkness as those who have been long dead»¹⁸. Проповедь он говорить не стал. Он просто стоял и смотрел поверх голов оцепеневших от ужаса прихожан застывшими, как у слепого, глазами. Потом он медленно спустился с кафедры и покинул молельный дом. В самом конце лета его отправили в Денби. Я навел на него там лишь однажды, накануне Рождества, вместе со старостой общины. Больные размещались в большом каменном доме. Помню, сказал Аустерлиц, нам пришлось ждать в каком-то помещении с зелеными стенами. Минут через пятнадцать пришел служитель и проводил нас к Элиасу. Он лежал на железной кровати с панцирной сеткой, отвернувшись к стене. Служитель сказал: «Your son's here to see you, parech»¹⁹, но, сколько служитель к нему ни обращался, Элиас никак не реагировал. Когда мы вышли из палаты, ко мне подскочил один из обитателей этого заведения, маленький, всклокоченный седоволосый человек, дернул за рукав и прошептал: «He's not a full shilling, you now»²⁰, что подействовало на меня как утешительный диагноз, который позволял смириться с безнадежным положением. – Более чем через год после моего посещения богадельни, в начале летнего семестра 1949 года, когда мы как раз готовились к экзаменам, от которых в известной степени зависела наша дальнейшая судьба, продолжил Аустерлиц свой рассказ по прошествии некоторого времени, однажды утром меня вызвал к себе директор Пенрайт-Смит. Я как сейчас вижу его перед собой, как он, в своей неизменной, изрядно потрепанной мантии, окутанный синеватым дымом от трубки, стоит в косых лучах солнца, пробивающихся сквозь забранное решеткой матовое окно, и все твердит в свойственной ему бестолковой манере, повторяя одно и то же, справа налево и слева направо, что за мое образцово-показательное поведение, которое я демонстрировал все эти годы, превосходное, примерное поведение, явленное мною, особенно с учетом обстоятельств последних двух лет, за это поведение, в случае, если я сумею оправдать надежды, справедливо возлагаемые на меня моими учителями, а я их оправдаю, несомненно, то в этом случае я могу рассчитывать на стипендию городского совета Стоуэр-Грэндж для продолжения обучения по гимназической программе. Однако прежде того он должен поставить меня в известность, что все экзаменационные документы будут выписаны не на имя Дэвида Элиаса, а на имя Жака Аустерлица. «It appears, – сказал Пенрайт-Смит, – that this is your real name»²¹. Мои приемные родители, сообщил директор мне далее, с которыми он имел продолжительную беседу, когда они записывали меня в школу, намеревались рассказать мне о моем происхождении перед выпускными экзаменами и хотели, кажется, оформить усыновление, но ввиду сложившихся обстоятельств, сказал Пенрайт-Смит, сказал Аустерлиц, это теперь исключается, к сожалению. Ему известно только, что супруги Элиас взяли меня к себе в дом в самом начале войны, когда я был совсем еще маленьким мальчиком, больше, однако, он ничего не знает. Как только состояние Элиаса немного улучшится, я смогу узнать у него все остальное, «as far as the other boys are concerned, you remain Dafydd Elias for the time being. There's no need to let anyone know. It is just that you will have to put Jaques Auslerlilz on your examination papers or else your work may be considered invalid»²². Пенрайт-Смит написал мне мое новое имя на бумажке, и, когда он вручил мне ее, я не нашел ничего лучшего, как сказать: «Thank you, Sir», сказал

¹⁸ Он заставил меня сидеть в темноте, как будто я давно уже мертвым был (*англ.*).

¹⁹ К вам пришел ваш сын, батюшка (*англ.*).

²⁰ Он немного того, знаете ли (*англ.*).

²¹ Кажется <...> это твое настоящее имя (*англ.*).

²² Для других мальчиков ты останешься пока Дэвидом Элиасом. Незачем кому-то об этом говорить. Но только на экзаменационных работах ты должен будешь писать Жак Аустерлиц, иначе их могут не засчитать (*англ.*).

Аустерлиц. Больше всего меня тревожило то, что слово «Аустерлиц» не связывалось у меня в голове ни с каким образом. Если бы моя новая фамилия звучала хотя бы «Морган» или «Джонс», я мог бы ее как-то увязать с действительностью. Имя Жак, по крайней мере, было мне знакомо по одной французской песенке. Но «Аустерлиц» мне никогда еще не встречался, и потому я с самого начала пребывал в твердой уверенности, что ни в Уэльсе, ни на Британских островах, ни в каком другом месте мира нет человека, который звался бы так же, как я. И действительно, за все то время, которое я занимаюсь своей историей, а занимаюсь я ею последние несколько лет, я нигде ни разу не встретил ни одного Аустерлица, ни в одной телефонной книге, ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Амстердаме. Правда, совсем недавно я от нечего делать включил радио и вдруг услышал, как диктор говорит, что Фред Астер, о котором мне до того ровным счетом ничего не было известно, в действительности носил фамилию Аустерлиц. Отец Астера, который, как явствовало из этой удивительной передачи, был родом из Вены, работал специалистом по пивоваренному делу в Омахе, штат Небраска. Там-то и появился на свет Фред Астер. С террасы дома, в котором проживало семейство Аустерлиц, было слышно, как перегоняются с одного пути на другой товарные составы в городском депо. Этот не прекращавшийся даже по ночам грохот переставляемых товарных вагонов и связанная с этим мечта уехать отсюда куда-нибудь на поезде остались для Астера, как он сам говорил, единственным воспоминанием детства. Не прошло и нескольких дней после того, как я случайно наткнулся на чужую историю жизни, мне повстречалась моя соседка, которая сама себя называет страстной читательницей, и рассказала о том, что в дневниках Кафки упоминается мой однофамилец, некий маленький кривоногий человек, который должен был делать племяннику писателя обрезание. Не думаю, что этот след меня куда-нибудь привел, как не думаю я, что стоит возлагать надежды на обнаруженную мною недавно запись в документах, касающихся эвтаназии, где среди прочего упоминается некая Лаура Аустерлиц, каковая показала на допросе, проводившемся итальянским прокурором двадцать восьмого июня 1966 года, что подобные кровавые эксперименты проводились в 1944 году на полуострове Сан-Саба близ Триеста. Во всяком случае, мне до сих пор не удалось разыскать мою однофамилицу. Я даже не знаю, жива ли она еще, ведь с того допроса прошло уже почти тридцать лет. Возвращаясь к моей истории, скажу, что до того апрельского дня 1949 года, когда Пенрайт-Смит вручил мне записку, я никогда не слышал имени Аустерлиц. Я даже не представлял себе, как оно произносится, и потому три или четыре раза прочитал про себя по складам это диковинное слово, звучащее, как мне тогда казалось, таинственным заклинанием, а потом оторвался от листка и спросил: «Excuse me, Sir, but what does it mean?»²³, на что Пенрайт-Смит ответил: «I think you will find it a small place in Moravia, site of a famous battle, you know»²⁴. И действительно, на следующий год нам много и подробно рассказывали о моравской деревушке Аустерлиц. Программа предпоследнего гимназического класса предусматривала изучение европейской истории, каковая традиционно считалась предметом сложным и объемным, требующим вдумчивой работы с материалом, вот почему основное внимание, как правило, уделялось эпохе великих английских свершений, охватывающей период с 1789 по 1814 год. Учителем, которому вменялось в обязанность познакомить нас с этой, как он говорил, достопамятной и вместе с тем страшной эпохой, был некий Андре Хилари, вступивший в должность после того, как вышел в отставку из армии, где служил в сухопутных войсках, и обладавший, как выяснилось вскоре, необыкновенными познаниями в том, что касалось эры Наполеона, которую он досконально знал в мельчайших подробностях. Андре Хилари получил образование в Ориэл-колледже, но уже с детских лет впитал в себя то восторженное отношение к Наполеону, которое культивировалось в его семье из поколения в поколение.

²³ Прошу прощения, сэр, но что это означает? (англ.)

²⁴ Думаю, это как-то связано с небольшим местечком в Моравии, там, где проходила знаменитая битва, знаешь? (англ.)

Имя Андре, сказал он мне однажды, сказал Аустерлиц, он получил по настоянию отца в честь маршала Массена, герцога Риволи. И действительно, Хилари мог описать весь путь, прочерченный на небосклоне жизни этой «корсиканской кометой», как он называл своего героя, – от первой вспышки до последней, озарившей воды Южно-Атлантического океана, все замысловатые зигзаги и повороты его жизненной траектории, не говоря уже о том, что он мог представить со всею подробностью любое событие и любого человека, на которых когда бы то ни было падал отблеск его сияния, в любой точке движения этого яркого светила от взлета до падения, причем безо всякой подготовки и так, будто он сам лично присутствовал при сем. Детство императора в Аяччо, годы учебы в военной академии Бриенна, осада Тулона, тяготы Египетского похода, возвращение назад, по морю, кишасшему вражескими кораблями, переход через Сен-Бернар, битва под Маренго, под Йеной и Ауэрштедтом, под Эйлау и Фридрихсфельдом, Лейпцигское сражение и Ватерлоо – все это Хилари живописал нам в красках, так что мы, словно воочию, видели перед собою происходящее, и получалось это отчасти потому, что он привносил в свое повествование немало драматизма, превращая его иногда в настоящее театральное представление, которое он разыгрывал в ролях, виртуозно перевоплощаясь то в одного, то в другого персонажа, отчасти же потому, что он умел разложить по полочкам все шахматные ходы Наполеона и его противников с холодной ясностью беспристрастного стратега, который взирает на исторический ландшафт с высоты птичьего полета, словно горный орел, как он однажды не без гордости заметил между прочим. Большинству из нас эти уроки истории Хилари врезались в память не в последнюю очередь потому, что он довольно часто, вероятно из-за своего большого позвоночника, знакомил нас с новым материалом, лежа на полу, что не казалось никому смешным или нелепым, поскольку именно тогда речи Хилари звучали особенно выразительно и весомо. К числу непревзойденных шедевров, созданных Хилари, относилось, несомненно, Аустерлицкое сражение. Начав издали, он описал прежде всего место действия, широкую дорогу, которая вела от Брюнна на восток к Ольмюцу, моравские холмы по левую руку от нее, Пратценские высоты по правую, странный Кегльберг, напомнивший тем бывалым солдатам наполеоновской армии, что прошли Египет, тамошние пирамиды, затем – деревушки Бельвитц, Скольнитц и Кобельнитц, лесопарк и фазаний заповедник, располагавшийся на этой территории, реку Гольдбах, пруды и озера на юге, лагерь французов и лагерь девяностотысячной армии союзников, растянувшийся более чем на девять миль. И вот, в семь часов утра, рассказывал Хилари, вспоминал Аустерлиц, из недр тумана возникли макушки ближайших гор, напоминавших острова в океане, и по мере того, как там, на уровне вершин, становилось все яснее и яснее, в долине, затянутой теперь молочной пеленой, все более сгущалась мгла. Тогда со склонов гор сошли, подобно медленной лавине, русские и австрийские войска и, не различая цели, двинулись наугад, теряя по мере продвижения уверенность и не зная, куда направить строй в этих расселинах и впадинах, что предоставило французам возможность совершить марш-бросок, занять оставленные противником исходные позиции на Пратценских высотах, а затем зайти к неприятелю с тыла. Хилари развернул перед нами красочное полотно, изобразив расположение полков в их белых и красных, зеленых и синих мундирах, которые по ходу битвы складывались в совершенно разные узоры, как пестрые стекляшки в мозаике калейдоскопа. Снова и снова звучали имена – Коловрат, Багратион, Кутузов, Бернадот, Сульт, Милорадович, Мюрат, Вандам и Келлерман, мы видели, как клубится черный дым от орудий, как пролетают со свистом пушечные ядра над головами сражающихся, как сверкают штыки в лучах утреннего солнца, пробившегося сквозь туман; мы слышали, словно наяву, грузный топот схлестывающейся тяжелой кавалерии и чувствовали, как слабеет собственное тело, когда очередной строй пехоты сминался неприятельской волной. Хилари мог часами рассказывать о втором декабря 1812 года и все равно считал, что этого мало, ибо ему неизбежно приходится многое сокращать, ведь если попытаться в самом деле, как он неоднократно повторял, представить в систематическом

виде, что происходило тем днем, – хотя никакое систематическое изложение в данном случае невозможно, ибо человечество еще не придумало соответствующих форм для описания подобного рода событий, – так вот, если попытаться все же описать конкретно, кто, где и как погибал или, наоборот, спасал свою жизнь, или если попытаться просто изобразить, как выглядело поле брани, когда опустилась ночь, как кричали все эти раненые, умирающие, – на это понадобится вечность. Тому, кто возьмется за такое предприятие, ничего не останется, как вместить все то, что нам неизвестно, в нелепую фразу: «Сражение шло с переменным успехом» – или в какую-нибудь иную, такую же беспомощную и бессмысленную формулировку. Все мы, включая и тех, которые полагают, будто в состоянии передать какое-нибудь действие вплоть до мельчайших, ничтожнейших деталей, – все мы вынуждены довольствоваться затасканными-перетасканными чужими декорациями и картонными фигурами. Мы силится воспроизвести действительность, но чем больше мы стараемся, тем навязчивее пробивается вперед то, что испокон веку можно было увидеть на театре военных действий: сраженный барабанщик, пехотинец, протыкающий штыком неприятеля, опрокинувшийся конь, неуязвимый император в окружении своих генералов посреди застывшего хаоса баталии. Наши занятия историей, утверждал Хилари, есть не что иное, как перебирание шаблонных картинок, хранящихся в запасниках нашей памяти наподобие старых гравюр, которые мы все время созерцаем, в то время как истинная правда находится где-то совсем в другом месте, в заповедной стороне, еще не открытой человеком. Я тоже, добавил Аустерлиц, из всей этой Битвы трех императоров, несмотря на многочисленные описания, которые я читал, помню лишь единственную картину – разгром союзников. Любая попытка постичь ход так называемых боевых действий во время того сражения неизбежно оборачивается для меня одним: я вижу перед собою одну-единственную сцену – бегство русских и австрийских солдат, пеших и конных, вытесненных на лед озера Зачан, вижу пушечные ядра, замершие на веки вечные в полете и те, что достигли цели, попав в самую гущу несчастных, вижу вскинутые руки беглецов, старающихся из последних сил удержаться на вздыбленных льдинах, и, что удивительно, я вижу все это словно бы не своими глазами, а глазами близорукого маршала Даву, который, приложив невероятные усилия, пригнал войска из самой Вены и теперь взирал на открывшееся его взору ледовое побоище сквозь очки на тесемках, завязанных у него на затылке, как будто он не маршал, а один из первых автомобилистов или авиаторов. Когда я сегодня вспоминаю эти экзерсисы Андре Хилари, сказал Аустерлиц, мне вспоминается и то, что я тогда, слушая Хилари, невольно проникался мыслью, будто моя судьба каким-то непостижимым, загадочным образом связана с достославным прошлым французского народа. Чем чаще в устах Хилари звучало слово «Аустерлиц», тем глубже оно входило в меня и тем отчетливее я ощущал его как свое собственное имя, и то, что поначалу воспринималось мною как позорное пятно, наполнилось теперь каким-то ярким светом, освещавшим отныне мой путь и казавшимся мне столь же многообещающим, как вышедшее из декабрьского тумана солнце над тем самым Аустерлицем. Весь учебный год меня не покидало ощущение, будто я – избранный, и это представление, которое, как мне прекрасно было известно, никоим образом не соответствовало моему сомнительному положению, сохранилось во мне на протяжении почти всей моей жизни. Из моих одноклассников никто, как мне думается, не знал моего нового имени, учителя же, которых Пенрайт-Смит поставил в известность об открывшихся новых обстоятельствах в моей биографии, называли меня по-прежнему Элиас. Андре Хилари был единственным, кому я сам сказал, как меня зовут в действительности. Это произошло вскоре после того, как мы сдали сочинения о понятиях «империя» и «нация». Тогда Хилари пригласил меня к себе в кабинет, вне своих приемных часов, чтобы вернуть мне лично в руки мою работу, за которую он поставил «отлично с отличием» и которую ему не хотелось бы смешивать, как он выразился, с прочими опусами господ-бумагомарателей. Он сам, сказал мне Хилари, при всем своем опыте, ведь он все-таки время от времени пописывает

для специальных исторических изданий, так вот, он никогда бы не смог представить такое тонкое исследование, к тому же в такие сжатые сроки, и потому ему хотелось бы узнать, кому я обязан столь глубокими познаниями в области истории и не повлиял ли на мое развитие в этом отношении, например, отец или старший брат. Я ответил отрицательно, и мне стоило невероятных усилий совладать с нахлынувшими чувствами, которые повергли меня в невыносимое, как мне тогда казалось, состояние, так что я не выдержал и открыл ему тайну моего имени, отчего он пришел в невероятное возбуждение. Он все хватался за голову, ахал и охал, всячески выражая свое изумление так, словно само провидение послало ему наконец ученика, о котором он всю жизнь только и мечтал. На протяжении всех тех лет, что я провел еще в Стоуэр-Грэндж, Хилари поддерживал и поощрял меня всеми доступными ему средствами и способами. Именно ему главным образом я обязан тем, сказал Аустерлиц, что на выпускных экзаменах я значительно обогнал всех прочих выпускников по таким предметам, как история, латынь, немецкий и французский, и в результате получил большую стипендию, каковая позволяла мне идти по избранной мною стезе и открывала путь к свободе, в чем я тогдашний ни на минуту не сомневался. На прощание Андре Хилари вручил мне два предмета из своей мемориальной коллекции: темный картон в золоченой раме, на котором под стеклом помещались три засушенных листка с острова Святой Елены, и маленький кусочек сероватого мха, который напоминал поблекшую веточку коралла и который один из предков Хилари, как это явствовало из подписи, снял тридцать первого июля 1830 года с гранитного надгробия маршала Нея. Эти памятные символы, сами по себе не представляющие никакой ценности, по сей день хранятся у меня, сказал Аустерлиц. Они значат для меня гораздо больше, чем иная картина, во-первых, потому, что эти сохранные реликты, иссохшие листики вытянутой формы и мох, при всей их хрупкости, остались не тронутыми временем, хотя и прожили более века, а во-вторых, потому, что они каждый день напоминают мне о Хилари, без которого я никогда не смог бы выйти на свет божий из тени дома священника в Бала. Именно он, Хилари, после смерти моего приемного отца, последовавшей в начале 1954 года в больнице Денби, взялся разобрать немногочисленные бумаги, оставшиеся от него, а затем, ввиду того что в документах Элиаса не сохранилось даже намека на какие бы то ни было сведения, касавшиеся моего происхождения, принялся хлопотать о получении для меня гражданства, что было сопряжено с немалыми трудностями. В те годы, когда я учился в Ориэл-колледже, в котором прежде учился он сам, Хилари регулярно меня навещал, и при всякой возможности мы отправлялись с ним на экскурсии к заброшенным, полуразвалившимся усадьбам, каковых в окрестностях Оксфорда было немало в те послевоенные годы. Пока же я оставался в школе, сказал Аустерлиц, меня поддерживала, кроме сочувственного отношения Хилари, дружба с Джеральдом Фицпатриком, благодаря которой я лучше справлялся с угнетавшей меня по временам неуверенностью в себе. Когда я перешел в гимназические классы, Джеральд, в соответствии с тогдашними интернатскими правилами, был придан мне в качестве фактотума. В его обязанности входило поддержание порядка в моей комнате, чистка сапог и приготовление чая, каковой он должен был приносить на подносе. С самого первого дня, когда Джеральд попросил подарить ему одну из последних фотографий нашей команды по регби, на которой можно увидеть и меня – крайний справа, в первом ряду, – я понял, что Джеральд чувствует себя таким же одиноким, как я, сказал Аустерлиц, который потом, почти через неделю после нашей встречи в отеле «Грейт-Истерн», прислал мне по почте упомянутый им снимок без каких бы то ни было комментариев. А в тот декабрьский вечер, когда мы сидели в баре, успевшем постепенно обезлюдеть, Аустерлиц продолжил свой рассказ о Джеральде, который с самого первого момента своего появления в Стоуэр-Грэндж страшно тосковал по дому вопреки своему, в сущности, веселому нраву.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.